Четыре шага (Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина) - 1)

Константин Симонов

SHOUT
SHARE
IT

- Симонов Константин
  - ○

Симонов Константин
Четыре шага (Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина) - 1)

Константин Михайлович СИМОНОВ
ЧЕТЫРЕ ШАГА
РОМАН
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
(ИЗ ЗАПИСОК ЛОПАТИНА)
В ТРЕХ ПОВЕСТЯХ

В романе рассказывается о жизни военного корреспондента Лопатина и о том, что пришлось увидеть ему на дорогах войны.

Моим старшим товарищам
военным корреспондентам
из поколения
Тихонова,
Суркова,
Платонова,
Славина
посвящается.

Издательство "Московский рабочий", 1978 г.

Двадцать с лишним лет назад, в ходе работы над трилогией "Живые и мертвые", я задумал, еще одну книгу - из записок Лопатина, - книгу о жизни военного корреспондента и о людях войны, увиденных его глазами.

Между 1957 и 1963 годами главы этой будущей книги были напечатаны мною как отдельные, но при этом связанные друг с другом общим героем маленькие повести ("Пантелеев", "Левашов", "Иноземцев и Рындин", "Жена приехала"). Впоследствии все эти вещи я соединил в одну повесть, назвав ее "Четыре шага". А начатое в ней повествование продолжил и закончил еще двумя повестями ("Двадцать дней без войны" и "Мы не увидимся с тобой...").

Так сложился этот роман в трех повестях "Так называемая личная жизнь", который я предлагаю вниманию читателей.

Как и в других моих военных романах, у действующих лиц его вымышленные фамилии., а у воинских частей - условные номера.

Естественно, что, написав роман о военном корреспонденте, я вспомнил в книге многое из виденного своими глазами, и это с

первых же страниц заметят те, кто читал мои военные дневники.

Тем более хочу подчеркнуть, что мой роман - не автобиографический. Его главное действующее лицо - Василий Николаевич Лопатин, родившийся в конце XIX века и встретивший Великую Отечественную войну, перешагнув за сорок, человек совсем другого поколения, чем я.

Впрочем, о каком поколении нашей интеллигенции идет речь, наверно, ясно и так - из посвящения, которое я предпослал роману.

Константин СИМОНОВ

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

(Из записок Лопатина)

РОМАН

В ТРЕХ ПОВЕСТЯХ

ЧЕТЫРЕ ШАГА

1

Корреспондент "Красной звезды", интендант второго ранга Лопатин, сидел в приемной члена Военного совета Крымской армии, ждал адъютанта и смотрел в окно.

Шел четвертый месяц войны. Симферополь жил полувоеннойполумирной жизнью конца сентября 1941 года. Под окнами штаба из запыленных "эмок", обтирая платками черные от пыли лица, вылезали обвешанные оружием командиры, только что приехавшие с Перекопа и Чоыгара. На другой стороне, у ларька с голубой вывеской "Мороженое", толпились в очереди пестро, по-летнему одетые женщины. Стояла сухая осенняя крымская жара.

Лопатин только вчера вечером вернулся из двадцатидневного плавания на подводной лодке, застал на узле связи пачку раздраженных телеграмм редактора и, до утра просидев за машинкой, по телефону, кружным путем, через Керчь и Ростов, продиктовал статью редакционной стенографистке.

Пока Лопатин был в плавании, положение на юге ухудшилось, и, хотя в утреннем сообщении Информбюро стояла та же самая фраза, что он читал двадцать дней назад, - "наши войска вели бои с противником на всем фронте", - сидевшие в Симферополе газетчики рассказали, что за это время немцы переправились через Днепр у Каховки и, выйдя к Мариуполю, отрезали Крым.

Утром по телефону Лопатин не застал редактора и теперь колебался лететь ли в Москву, как было условлено раньше, или в связи с новой обстановкой оставаться в Крыму.

Желание решить свое ближайшее будущее и привело Лопатина к члену Военного совета армии дивизионному

комиссару Пантелееву. Надо было посоветоваться с ним и попытаться дозвониться по ВЧ до редактора.

Дверь кабинета отворилась, из нее выбежал с папкой бумаг совсем молоденький младший политрук. У него было розовое, чистенькое лицо, еще сохранившее ту улыбку, с которой он выслушал последнюю шутку начальства. Положив папку на стол, он скользнул глазами по пыльным, с широкими голенищами, солдатским сапогам интенданта второго ранга и вопросительно уставился на него.

- Вы адъютант члена Военного совета? - спросил Лопатин, поднимаясь со стула, хотя и был старше по званию.

- Да.

- Доложите, пожалуйста, обо мне дивизионному комиссару.

Лопатин назвал газету и свою фамилию.

Минуту спустя он уже входил в кабинет мимо посторонившегося адъютанта. За письменным столом, позади которого, у стены, гтояла заправленная солдатским одеялом койка, сидел дивизионный комиссар Пантелеев, бритоголовый, краснолицый человек с очень черными бровями. Лопатину самому не привелось встречаться с ним на финской войне, но от своих товарищей, служивших во фронтовой газете на Карельском перешейке, он слышал много рассказов о Пантелееве как о человеке замечательной храбрости.

Здороваясь, Пантелеев привстал. Он был невысок ростом и плотен На нем была бумажная гимнастерка с двумя орденами Красного Знамени и синие суконные бриджи. На толстые, короткие ноги были натянуты только что начищенные, резко пахнувшие ваксой сапоги.

Он слушал Лопатина, глядя прямо на него своими черными глазами, и потирал бритую голову то в одном месте, то в другом, словно проверяя, хорошо ли побрил его парикмахер.

Узнав, что Лопатин хочет созвониться с редактором, Пантелеев приостановил его движением руки, снял трубку ВЧ и приказал, чтобы его соединили с Москвой.

- Положение у нас в Крыму такое, - сказал он, до конца дослушав Лопатина, - войска стоят на позициях, оборона готова, немцы подошли впритирку, но когда начнут - трудно сказать.

Крыма им, пока живы, не отдадим, - значит, придется драться. Пантелеев сказал это безо всякой аффектации и улыбнулся.

У него за спиной затрещал телефон, и он, быстро повернувшись, снял трубку. Судя по восклицаниям Пантелеева, Лопатин понял, что они с редактором на короткой ноге.

- А ты оставь его у меня насовсем, чего ему ездить взад-

вперед, говорил в трубку Пантелеев.. - Почему жирно, ничего не жирно, у тебя их много, а мы начинающие, только еще воевать начинаем. Берите трубку, сказал он Лопатину и снова улыбнулся.

Сквозь сухое многоголосое жужжание ВЧ Лопатин услышал знакомый кашляющий голос редактора.

- Оставайся пока у Пантелеева, - сказал редактор. - Только когда будешь ездить с ним - смотри! А то я его знаю - и сам угробится, и тебя угробит. - Редактор хохотнул в телефон, и его далекий московский смешок оборвался где-то посередине.

- Значит, остаетесь, - сказал Пантелеев и быстро и внимательно, уже как собственность, оглядел своими черными глазами Лопатина.

Перед ним на стуле сидел худощавый жилистый человек в круглых металлических очках. Лицо у него было узкое и худое, а глаза за очками твердые и холодноватые. Этот человек показался Пантелееву чем-то похожим на знакомого ему по финской войне писателя Павленко, но книг Лопатина он не читал, хотя в документах интенданта второго ранга тоже значилось: писатель.

- А вы не больны? - спросил Пантелеев, вглядываясь в бледное после долгого подводного плавания лицо Лопатина.

- Нет, не болен.

- А жилье у вас есть?

- Есть койка в гостинице.

- Будьте здесь завтра в шесть утра, - сказал Пантелеев, вставая и с пяток на носки покачиваясь на коротких толстых ногах. - Поедем на Перекоп. - И пожал Лопатину руку.

Вернувшись в гостиницу, Лопатин лег в постель, так и не поев в этот день. Он рассчитывал перекусить запасами, оставленными в вещевом мешке перед уходом в плавание, но мешок был пуст, лаже от сухарей остались одни крошки. Редакционный шофер Мартьянов, с которым Лопатину и раньше не удавалось поставить себя в положение начальника, за три недели его отсутствия, очегдтдко, совсем отбился от рук. Ни в гостинице, ни около нее не было ни Мартьянова, ни машины, он даже не посчитал нужным оставить хотя бы заппску. Усмехнувшись над собственной, начинавшей ему надоедать безрукостью, Лопатин сбросил сапоги, не раздеваясь повалился на койку, и заснул мертвым сном.

2

В пять утра, когда Лопатин проснулся, ни шофера, ни машины все гще не было. Оставалось надеяться, что у Пантелеева найдется лишнее место.

У подъезда штаба стояла "эмка". Розовый младший политрук, держа в руках небольшой чемоданчик, - "наверное, с едой" -

завистливо подумал Лопатин, бранил немолодого шофера в плохо пригнанном новом обмундировании.

- Так ведь, товарищ Велихов, - оправдываясь, говорил шофер, прикручивая проволокой бачок с запасным бензином к заднему буферу машины, - вы же поймите...

- Во-первых, обращайтесь по званию, - строго прервал его розовый младший политрук и, увидев Лопатина, подчеркнуто официально козырнул ему. - А во-вторых, я все помню: велено было вам взять три банки, а вы взяли две.

- Так ведь для рессор будет тяжело, - не отрываясь от своего занятия, миролюбиво ворчал шофер, - Ведь дорога-то какая...

- Я не слышу, что вы там говорите. Встаньте, когда говорите с командиром.

Шофер, прикручивавший бачок сидя на корточках, встал, неловко опустив руки по швам. По его лицу было видно, что он обижен, с удовольствием послал бы адъютанта к чертовой матери, но не решается.

В эту минуту из подъезда вышел Пантелеев.

- Как у вас, все готово? - обратился он к шоферу.

- Все в порядке, товарищ Пантелеев, - весело сказал шофер, торопливо вытирая руки тряпьем.

Младший политрук посмотрел на него уничтожающим взглядом, - он даже к дивизионному комиссару ухитрялся обратиться не по званию. Однако сделать замечание в присутствии начальника адъютант не посмел и только, зло поджав губы, глянул в спину шофера: мол, погоди, придет время, я с тобой поговорю!

- Раз все в порядке, значит, едем, - сказал Пантелеев и, пожав руку Лопатину, сел впереди.

Лопатин и политрук сели сзади. Шофер захлопнул дверцу, и машина тронулась.

Пантелеев снял фуражку, и через минуту ег бритая голова стала беспомощно склоняться то вправо, то влево. Он спал. Лопатин и адъютант ехали молча. Лопатина клонило ко сну, а младший политрук, открыв до отказа боковое стекло и высунув в нею голову, неотрывно следил за воздухом.

Через два часа, когда машина подъехала к развилке дорог, из которых одна шла к Перекопу, а другая поворачивала на Чонгар, Пантелеев, как по команде, проснулся, пошарил рукой и, надев скатившуюся на пол машины фуражку, сказал шоферу, чтобы тот сворачивал направо, к Чонгару. Лопатин не собирался ничего спрашивать, но Пантелеев сам повернулся к нему, чтобы объяснить, почему они едут на Чонгар, а не к Перекопу, как собирались вчера.

Оказывается, на Перекопе по-прежнему была тишина, а на Чонгаре немцы вчера днем неожиданно вышли к станции Сальково, лежавшей перед нашим передним краем, и заняли ее. Сальково по предварительному плану оборонять не предполагалось, но батальон, стоявший там в охранении, после внезапной атаки немцев оказался отрезанным на той стороне, за станцией.

- Я там был вчера вечером, - сказал Пантелеев, и Лопатин понял, почему он сразу, сев в машину, заснул. Очевидно, он так и не ложился спать. Пытались в ночном бою отбить станцию и вывести батальон. Сегодня придется повторить - вчера не вышло.

И он стал рассказывать, почему не вышло: кругом все уже было заминировано, и, чтобы прорваться к Сальково, оставалась только узкая полоса в несколько десятков метров с двух сторон железной дороги. Полк был еще не воевавший, да вдобавок недавно развернутый, укомплектованный из запаса, как, впрочем, и вся дивизия. В ночном бою все перепуталось - чуть не постреляли друг друга. Пришлось остановиться, чтобы навести порядок, подготовить огонь артиллерии и сегодня утром начать сначала.

- Ну и командир дивизии вчера, по правде сказать... - Пантелеев оборвал себя на полуслове и, обращаясь к младшему политруку, сказал: - Спел бы, а, Велихов! Прилетят - услышим.

Подними стекло - пыль!

Велихов обиженно поднял стекло - он заботился о безопасности дивизионного комиссара, а тот сказал об этом так, словно адъютант следил за воздухом из трусости. Потом он задумался и негромко, душевным тенором затянул песню о коногоне, которого завалило в шахте. "...А молодого коногона его товарищи несут..." - пел он, и его розовое молодое лицо делалось с каждым куплетом песни все добрей и печальней. Лопатин никогда не слышал этой песни.

- Наша, шахтерская, - сказал Пантелеев и согнутым пальцем потер глаз.

- А вы откуда, товарищ Пантелеев? - спросил неисправимый шофер, и у младшего политрука снова сделалось строгое лицо.

- Я-то? - воспринимая это штатское обращение к себе как самое естественное, переспросил Пантелеев. - Из-под Енакиево.

А вы?

- Ворошиловградский, - сказал шофер и затормозил. - Помоему, теперь налево?

- Второй раз едете, надо помнить! - сказал Пантелеев и, прищурясь, посмотрел налево. - Сворачивайте.

"Эмка" подъехала к штабу дивизии. Он размещался в

километре от видневшегося на пригорке небольшого хутора. Повсюду змеились ходы сообщения. Несмотря на здешнюю бедность лесом, штабные землянки были перекрыты толстыми бревнами в три-четыре наката, чувствовалось, что с противовоздушной защитой тут постарались на совесть.

Адъютант командира дивизии, прислушиваясь к воздуху, заметно нервничал и, покрикивая на шофера, поспешно загонял под маскировочную сетку "эмку", на которой приехали Пантелеев и Лопатин.

Командир дивизии - генерал-майор с лицом, которое было трудно запомнить, - встретил приехавшего Пантелеева так подобострастно, что показался Лопатину меньше ростом, чем был на самом деле. Поскрипывая новыми ремнями, он все время нагибался с высоты своего саженного роста к Пантелееву, шлепая ему губами в самое ухо, и мягко, но настойчиво теснил Пантелеева по ходу сообщения. Он хотел вести предстоявший ему неприятный разговор внизу, в блиндаже. Наконец Пантелеев отодвинулся от него, с недоброжелательным интересом посмотрел генерал-майору прямо в глаза и, выйдя из хода сообщения, сел на траву на открытом месте.

- Садитесь, - сказал он генерал-майору, хлопнув рукой по земле.

Генерал-майор хотел удержаться и не взглянуть на небо, но не удержался, все-таки взглянул и только после этого сел рядом с Пантелеевым.

- Вас что, разбомбили, что ли? - взглянув на небо, а потом на генерал-майора, спросил Пантелеев.

- Как? Почему разбомбили? - не поняв насмешки, переспросил генерал.

- А я думал, разбомбили, - сказал Пантелеев, - больно уж вас под землю тянет. Как с Сальково?

- В десять пятнадцать, как приказано командующим, повторим атаку, ответил генерал-майор и, побоявшись, что задел самолюбие члена Военного совета, поправился: - Как приказано Военным советом армии, так и будет сделано.

Пантелеев поморщился.

- Приказано, приказано, - проворчал он. - Вам вчера было приказано, а вы дотянули до ночи и провалили.

- Неудача, товарищ член Военного совета, - разведя руками, сказал генерал. - Случается! Вы сами вчера видели.

- Неудачу-то я видел, - проговорил Пантелеев медленно и задумчиво, словно восстанавливая перед глазами зрелище вчерашней неудачи. Неудачу-то я видел, - повторил он, - а вот вас там, где была у вас неудача, я не видел. Командира полка видел,

а вас нет.

- Совершенно правильно, - с покорным бесстыдством сказал генерал. - Я на другом боевом участке в это время был.

- На другом? - Пантелеев посмотрел на генерала, потом на щель, в конце которой виднелся вход в генеральский блиндаж, и хмыкнул.

- А сегодня, - после паузы спросил он, - тоже будете во время атаки на другом участке, или как?

- Никак нет, - сказал генерал и, завернув рукав гимнастерки, посмотрел на большие часы. - В девять тридцать прибудет командующий и двинемся вместе на НП полка.

- Командующий? - протянул Пантелеев.

То, что сюда приедет командующий, было для него неожиданностью.

- Так точно, пятнадцать минут назад звонил, предупреждал, - сказал генерал, в душе довольный тем, что с приездом командующего он не останется один на один с Пантелеевым - непрошеным свидетелем его вчерашней неудачи.

- Он мне с ночи не говорил - значит, передумал, - сказал Пантелеев, Слушайте, товарищ Кудинов, - он впервые назвал генерала по фамилии, - а как у вас все-таки дела на Арабатской Стрелке, только не в общих чертах, а конкретно?

- Под утро прошел слух, что туда ночью просочились немцы.

- Вот именно, - перебил его Пантелеев, - об этом я и спрашиваю.

Кудинов чуть заметно пожал плечами.

- По полученным нами предварительным сведениям, это не соответствует действительности, по я дал приказание, чтобы в дальнейшем уточнили окончательно.

- Предварительно... окончательно... - пробурчал еле слышно, но сердито Пантелеев, - а конкретно - порядок там у вас или нет?

- Порядок! - набрав полную грудь воздуха, отчеканил генерал.

- Ладно, - сказал Пантелеев, вставая и протягивая ему руку. Дожидайтесь командующего и воюйте.

- А вы? - удивленно спросил Кудинов.

- А я поеду на Арабатскую Стрелку, раз у вас там все в порядке.

Он сказал это с грубоватой иронией, к которой Лопатин начинал привыкать, - она означала, что Пантелеев ни на грош не верит в тот порядок, о котором ему доложил генерал.

- А может быть, позавтракаете в ожидании приезда командующего - там, на хуторе, у меня все приготовлено, а, Андрей Семенович?

Кудинов гостеприимно повел рукой в сторону белевшего на

бугре хуторка. Оп был зол на Пантелеева, но желание загладить вчерашнее было сильнее обиды.

- Нет уж, поеду. Спасибо, - буркнул Пантелеев. - А позавтракать все ж таки надо, - зевая и потягиваясь, сказал он вскоре после того, как они отъехали от кудиновского штаба. - Вы кушали?

Лопатин подумал, что этот вопрос относится к нему, и хотел ответить, но, оказывается, Пантелеев спросил не его, а шофера.

- Немножко подзаправился, - ответил шофер.

- На немножко далеко не уедешь, - сказал Пантелеев и обратился на этот раз уже к Лопатину: - А вы?

- Не успел, - сказал Лопатин.

- И мы с Велиховым тоже не завтракали, - кивнул Пантелеев на адъютанта. - Я у Кудинова отказался - боялся, что хоть и на хуторе, а все же куда-нибудь в щель засадит. Сворачивайте к копне, вон к той, дальней... показал он шоферу.

Машина стала в тени огромной копны сена. Высоко над степью кружился немецкий разведчик. С разных сторон по нему лениво постреливали из пулеметов и винтовок.

Велихов открыл чемоданчик, раскинул на сене салфетку, достал помидоры, огурцы, хлеб, крутые яйца и термос с чаем. Разложив все на салфетке, он подошел к шоферу ц стал злым, хорошо слышным шепотом снова, как в Симферополе, пилить его, требуя, чтобы тот развернул машину не так, как она стоит, а как-то подругому, чтобы она стояла на ходу и ее не было видно сверху. Во всем этом не было никакой необходимости - в тени копны машины сверху и так не было видно, а в открытой степи она, как ее ни поверни, все равно стояла на ходу.

Пантелеев достал из чемоданчика пузырек с тройным одеколоном, вытер руки сначала одеколоном, потом насухо платком и сел. Нарезая ломтями хлеб и толстыми ловкими пальцами быстро очищая одно за другим яйца, он прислушивался к разювору.

Наконец обиженный шофер не выдержал и огрызнулся.

Лопатин смотрел на сидевшего рядом с ним Пантелеева - ему было интересно, как тот поступит.

Пантелеев дочистил последнее яйцо и сложил скорлупу в обрывок газеты:

- Давайте кушать.

Велихов подошел и сел, а шофер обиженно отошел в сторону, сделав вид, что предложение Пантелеева к нему не относится.

- А вы, - сказал Пантелеев, - идите кушать!

- Нет, спасибо, - ответил шофер. - Я не хочу кушать. Не могу.

- Почему же не можете? Со мной не хотите, что ли? - спросил

Пантелеев, расстегивая воротничок и поудобнее прима щипаясь на охапке сеиа.

- С вами я могу, а с ними не хочу, - шофер пальцем показал на адъютанта.

- Тут я, а не он хозяин, - сказал Пантелеев. - Стол-то мой, раз я зову, давайте кушать.

Шофер покосился на адъютанта, подошел и присел на корточки рядом с Лопатиным.

Завтракали минут двадцать. Еле видные в небе разведчики теперь гудели сразу в нескольких местах, и теперь по ним стреляли отовсюду; в небо лопались белые шарики зенитных разрывов.

- Вы на Западном фронте были? - поглядев на небо, спросил Лопатина Пантелеев.

- Был с июня до августа.

- А я до сентября. Я здесь неделю всего, - Пантелеев снова посмотрел на небо. - Там, на Западном, на это уже и внимания не обращают, а здесь в щели лезут. Дело привычки; но, пока одни привыкает, другого уже убивают. Так и вертится чертово колесо...

Собирай, Велихов, да поедем, - кивнул он на салфетку и оставшуюся еду.

- Как по-вашему, что дороже на войне, - вставая, спросил Пантелеев у Лопатина (Велихов и шофер уже пошли к машипе), - храбрость или привычка?

- Привычка, - не думая, ответил Лопатин.

Пантелеев покачал головой.

- Что, неправда?

- Правда, но жалко, - сказал Пантелеев. - Жалко, что много храбрых людей до этой привычки не доживают. Сколько раз я на маневрах был, десятки раз, а на поверку вышло: война как вода, - пока не нырнешь в нее, плавать не научишься. Как там, уложились?

3

К переправе на Арабатскую Стрелку подъехали только в одиннадцатом часу. На месте переправы берег был отлогий, мелкая вода пролива играла прохладной осенней рябыо. Вдали, в семи километрах, над серой водой поднималась желтовато-серая полоска Арабатской Стрелки.

Рыбаки из Геническа, здоровые, шумные парии в закатанных до колен штанах, выскакивая из лодок, одну за другой подтаскивали их по мелководью поближе к берегу. На лодки грузилась стрелковая рота. Красноармейцы, так же как и рыбаки, разувались, подсучивали штапы и, держа в руках сапоги, перебирались в лодки. Немного подальше на берегу сидела еще

одна рота, ждавшая переправы.

Переправой распоряжался толстый немолодой полковник - южанин по виду. Увидев выходящего из машины дивизионного комиссара, полковник подобрал толстый живот, сделал несколько шагов навстречу, вытянулся и, почему-то Лопатин еще не понял почему - уже заранее волнуясь, доложил, что он командир полка полковник Бабуров и что во вверенном ему полку все в порядке.

- Чем сейчас заняты? - спросил Пантелеев, внимательно глядя на него.

Полковник сказал, что сейчас он занят тем, что отправляет вот эти две роты на Арабатскую Стрелку и сам тоже переправляется туда.

- Верно ли, что не то вечером, не то ночью на вашу Арабатскую Стрелку немцы пролезли? - спросил Пантелеев.

Полковник ответил, что нет, что на Арабатской Стрелке все укреплено, организована оборона и сведения о немцах неверны.

- А зачем же вы переправляете туда еще две роты и сами едете?

- Я еду... - Полковник начал фразу быстро и уверенно, но посредине сник. - Я еду потому, что... потому, чтобы там все было обеспечено.

- Так вы же говорите, что у вас там и так все обеспечено, - неумолимо продолжал Пантелеев.

- Так точно, обеспечено, но я еще хочу обеспечить...

Пантелеев недоверчиво усмехнулся и приказал, чтобы ему сейчас же дали моторку - ехать на тот берег одновременно с переправлявшейся ротой.

- Поедем посмотрим, какой там у них порядок, - сказал он Лопатину, грузно перешагивая через борт моторки.

Полковник, севший в моторку вместе с ними, полунедоуменно, полузаискивающе поглядел на Лопатина, которому член Военного совета сказал "посмотрим, какой там у них порядок".

Лопатин отвел глаза. Ему стало стыдно за этого растерявшегося человека.

Пантелеев всю дорогу молчал с таким видом, что ни у кого не возникало желания с ним заговорить. "Что бы вы мне теперь тут ни болтали, я вам не верю, - говорил его вид, - не верю и не буду терять времени ни на вопросы, ни на выслушивание ваших ответов. Сам поеду, сам посмотрю и сам себе отвечу".

Берег, к которому подошла моторка, оказался таким же пологим, как и тот, от которого она отчалила. День был жаркий, сухой, вовсю палило солнце. У самой переправы грелись на солнце минометчики, а чуть подальше отдыхало еще два десятка

недавно переправившихся солдат. Обстановка показалась Лопатину совершенно мирной. Еще более мирный вид придавали ей работавшие на переправе рыбаки. Не чувствуя себя ни у кого в подчинении, они на глазах у начальства курили трубки и самокрутки и, громко и весело перекрикиваясь с лодки на лодку, обсуждали, где в обед лучше будет варить уху - на том или на этом берегу.

Лопатин не сразу поверил, когда ему сказали, что эти люди всего три дня назад угнали свои лодки от неожиданно ворвавшихся в Геническ немцев, оставив родной город, жен и детей.

- Ну, где у вас штаб батальона? - едва успев ступить на землю, спросил Пантелеев у Бабурова. - Как будем добираться?

- Сейчас машина подойдет, товарищ дивизионный комиссар. - Судя по лицу полковника, он ожидал упрека за то, что дивизионный комиссар уже переправился, а машина ему еще не подана, но Пантелеев только кивнул.

Отойдя на два десятка шагов, Бабуров поманил к себе пальцем какого-то младшего командира, должно быть виновного в том, что машины еще нет на месте, и стал неслышно, но свирепо распекать его. Лопатин видел, как у полковника сердито дрыгали заросшие седой щетиной красные обвислые щеки.

Пантелеев, по-прежнему не выражая желания ни с кем разговаривать, угрюмо шагал взад и вперед по берегу. Лопатин вынул из планшета карту, чтобы сориентироваться, в какой точке Арабатской Стрелки они высадились. Отделяя Сиваш от Азовского моря, окаймленная с двух сторон голубовато-синей водой, на карте лежала узкая и бесконечно длинная полоска земли. Южный конец ее за обрезом карты уходил к Керченскому полуострову; на севере синяя ниточка пролива отделяла ее от занятого немцами Геническа. Всего месяц назад Лопатин ехал в Крым именно через этот город, через мост, который теперь, как говорят, взорван, через эту самую Арабатскую Стрелку, на берегу которой он сейчас стоял.

Судя по карте, отсюда до северного конца Стрелки было километров пятнадцать. "А впрочем, - подумал он, - туда, до самого конца, сейчас вряд ли доберешься". Геническ стоял на горе, и месяц назад Лопатин сам смотрел оттуда, сверху, на Арабатскую Стрелку, похожую с горы на очень широкое, желтовато-серо о шоссе, идущее прямо через море. Немцы, которые теперь сидели в Гепнческе, наверное, просматривали далеко вглубь все, что было на Арабатской Стрелке.

"Смотри там, у Пантелеева, а то и сам угробится, и тебя угробит, я его знаю", - вспомнил Лопатин телефонный хохоток

редактора, и его передернуло при мысли о немцах, которые смотрят на Арабатскую Стрелку сверху, из Геническа. Ему захотелось потянуться и выдохнуть из себя что-то холодное, неприятное, проползшее внутри живота. Это был один из тех приступов страха, которые Лопатин знал за собой, и, как всегда, ему показалось, что другие могут заметить это. Он обернулся и взглянул на Пантелеева.

Но Пантелеев по-прежнему сердито ходил по берегу, думая о чем-то своем.

- Эй! - услышал Лопатин вместе с отчаянным скрипом тормозов пронзительный женский голос. Прямо перед ним остановилась полуторка, за рулем которой сидела белобрысая девушка в голубом выцветшем платье и белой запыленной косынке. Даже через стекло кабины было видно, какие у нее отчаянные голубые глаза и веснушки, такие крупные, какие бывают только у огненно-рыжих мальчишек.

- Эх, товарищ командир, - весело крикнула девушка, спрыгивая с подножки грузовика, - через вас мотор заглох! Хотела задавить, да пожалела!

Она прошла мимо Лопатина, мальчишеским жестом сдвинула на затылок косынку, ловко вставила заводную ручку и несколько раз подряд крутанула ее. Лопатин видел, как под выцветшим голубым ситцем напряглись ее худые лопатки.

Но машина не завелась.

- Давайте помогу, - сказал Лопатин, становясь рядом с ней.

- Помоложе вас есть, - полуобернулась к Лопатину девушка; увидев теперь совсем близко ее лицо, Лопатин подумал, что и в самом деле в свои сорок с лишним он кажется ей старым человеком, и не решился во второй раз предлагать помощь.

Девушка нагнулась и снова взялась за ручку.

Машина опять не завелась.

- Дай-ка я, - подскочил коренастый маленький боец.

- - Поздно собрался, - отрезала девушка. Широко раздвинув йоги, как заправский шофер-мужчина, она несколько раз, не разгибаясь, крутанула ручку - лопатки так и заходили у нее под платьем. Машина фыркнула и завелась.

- Вот и готово, - сказала она, задохнувшись, тыльной стороной руки устало вытерла пот со лба и улыбнулась Лопатину.

- С тобой поедем? - спросил подошедший Пантелеев.

- Со мной, товарищ начальник. Садитесь!

- Что, у вас бойцов, что ли, нет? - покосившись на девушку, спросил Пантелеев стоявшего за его спиной Бабурова.

- А я - боец, - смело сказала девушка.

- Какой же ты боец?

- Обыкновенный, вместе с машиной мобилизовали. Два дня служу. Чувствовалось, что ей нравится и слово "служу", и слово "мобилизовали", и слово "боец".

- Только обмундирования не дают, вы бы уж сказали, товарищ начальник, не очень разбираясь в знаках различия, но безошибочно угадав в Пантелееве начальника, сказала девушка. - Одни сапоги выдали, - добавила она, кивнув на свои голые коленки, вылезавшие из кирзовых сапог, - да винтовку. Шинель просила, и ту не дали.

- Ладно, разберемся, - сказал Пантелеев. - А стрелять из винтовки умеешь?

- Я все умею, - весело сказала девушка и полезла в кабину.

Пантелеев сел рядом с ней, а Велихов и Лопатин влезли в кузов,

подсадив перед этим тяжело дышавшего толстого Бабурова. Машина затарахтела по кочкам.

На Арабатской Стрелке стояла тишина, не было слышно ни одного звука, кроме погромыхивания старой полуторки. Дорога была пустынной - слева мелькнуло несколько глинобитных домиков, и снова потянулась голая кочковатая степь. Справа, вдоль берега Азовского моря, белели холмики соли, и Лопатин вспомнил, что он уже видел их, когда проезжал здесь в конце августа: на Арабатской Стрелке были соляные промыслы.

Бабуров сидел в углу кузова, у него был несчастный и злой вид; сзади него гремели разболтанные борта, на ухабах он хватался за них, чтобы не удариться, и болезненно морщился.

Примерно на шестом километре он вскочил на ноги и, неловко пробежав по кузову, постучал в стенку кабины. Машина остановилась.

- В чем дело? - высунувшись, спросил Пантелеев.

- В штаб батальона приехали!

Прямо у дороги, в скате небольшого холма, были вырыты блиндажи и ходы сообщения.

Пантелеев вылез из машины и достал карту.

- Значит, тут у вас штаб батальона? - тыча в карту пальцем, спросил он Бабурова. Лицо его побледнело, а черные глаза стали узкими и жестокими.

- Так точно! - Приложив к козырьку руку, Бабуров так и стоял, от растерянности забыв опустить ее.

- А сколько у вас отсюда до переднего края? - спросил Пантелеев. - Не знаете? Не считали? Так я вам сосчитаю... - И он, расставив циркулем пальцы, ткнул ими в карту. - Девять километров от штаба батальона до вашей передовой роты - вот сколько! Где командир батальона? Вы командир батальона? -

обратился он к подбежавшему старшему лейтенанту.

- Я начальник штаба батальона.

- А где ваш командир батальона?

- Впереди.

- Где впереди? Вызовите его к телефону.

Пантелееву ответили, что с командиром батальона нет связи.

- Как нет связи? Не протянули или прервана?

Бабуров и старший лейтенант, перебивая друг друга, ответили, что связь прервана еще ночью.

- А когда же ушел вперед командир батальона?

- Вчера вечером.

- И с тех пор пот с ним связи?

- да? то есть нет... - все более растерянно отвечал старший лейтенант.

В конце концов выяснилось, что командир батальона еще с вечера пропал без вести, но об этом до спх пор боялись докладывать.

- Где же он пропал?

Старший лейтенант начал объяснять, что командир батальона пропал, потому что он вчера вечером пошел в передовую роту, лежавшую в окопах на берегу под самым Геническом. А в роту он пошел потому, что там вечером началась непонятная стрельба, а стрельбу, как это теперь уже ясно, открыли немцы, которые, как говорят, высадились на косе. И вообще говорят, что со всей первой ротой случилось что-то неладное.

- Кто говорит? Кто вам об этом докладывал? Покажите, где тот человек? задавал вопрос за вопросом Пантелеев.

Но кто это говорил, кто докладывал, где человек, который докладывал, никто не знал.

- Ну хорошо, а что там сейчас, вам известно?

Старший лейтенант недоуменно пожал плечами. "Командир батальона приказал ему остаться здесь, и вот он и остался здесь и ждет дальнейших приказаний". Он говорил это с видом человека, которого оставили посторожить квартиру, пока вернутся хозяева.

Пантелеев глубоко вздохнул и посмотрел на Бабурова. Он уже понял, что дело не просто в бестолковом начальнике штаба батальона и его пропавшем командире, дело в том, что на сегодняшний день в дивизии генерала Кудинова сверху донизу не было порядка. Не было вчера у самого Кудинова в бою под Салькоово, не было у его командира полка Бабурова, не было порядка и здесь, в батальоне.

- Почему, скажите мне по крайней мере, - бледнея от усилия сдержаться, спросил Пантелеев у старшего лейтенанта, - почему

вы выбрали это место для командного пункта батальона?

Место в девяти километрах от переднего края! Вы его сами выбирали?

Старший лейтенант, оглянувшись на Бабурова, ответил, что нет, они выбирали этот пункт вместе с командиром полка.

- Почему именно этот пункт? - спросил Пантелеев, повернувшись к Бабурову.

Тот, путаясь и заикаясь, сказал, что выбрал этот пункт потому, что отсюда все хорошо видно и вообще это самая ближняя от переднего края горка.

- Горка... - повторил Пантелеев, и слово "горка" прозвучало в его устах как ругань. - Сами вы... - он оборвал себя, спросив: - А где у вас стоит тяжелая морская батарея?

Оказалось, что тяжелая морская .батарея стоит в четырех километрах впереди - между ротой и командным пунктом батальона.

- Хороши гуси-лебеди... Вот я поеду сейчас вперед, - повернулся он к старшему лейтенанту, - а когда вернусь и увижу, что штаб батальона находится еще здесь, возьму и расстреляю вас, прямо на этой самой вашей горке!

И, больше не интересуясь старшим лейтенантом, снова повернулся к Бабурову.

- А вы, товарищ полковник, - слова "товарищ полковник" дыгаали ядом, будьте любезны доложить мне, что у вас происходило здесь вчера вечером, сегодня ночью и сегодня утром и почему вы никому не донесли до сих пор о том, что у вас тут происходит? Вы здесь были?

Бабуров ответил, что вот он здесь, он приехал сюда вместе с товарищем дивизионным комиссаром...

- А там, в роте у себя, вы были?

Бабуров сказал, что, когда его застал на берегу товарищ дивизионный комиссар, он как раз собирался туда, в роту, а не сообщил он раньше потому, что думал ликвидировать все сам, своими силами.

- Что ликвидировать? - закричал Пантелеев. - Что ликвидировать? Вы же там по были! Вы же не знаете, что ликвидировать! Вы же не знаете, есть там немцы или нет? Живы у вас там люди или не живы? Ничего вы не знаете...

Бабуров во время этой вспышки гнева вдруг собрал остатки самолюбия и в ответ сказал громко, с некоторой даже напыщенностью, что раз есть приказ не пустить врага на крымскую землю, то, чего бы это ему ни стоило, он приказ выполнит и, какие бы там немцы ни были, он пойдет и уничтожит их!

Пантелеев молча смерил его взглядом.

- Хорошо, мы с вами потом поговорим, - сказал он почти спокойно, владевший им гнев все больше переходил в презрение, - поедете со мной. Дайте несколько бойцов, - обратился он к старшему лейтенанту, - пусть садятся в кузов и едут со мной.

Старший лейтенант побежал распорядиться, а Пантелеев сел в кабину и захлопнул дверцу.

- Можно ехать, товарищ начальник? - спросила девушка.

- Погляди, когда люди в кузов сядут, тогда и поедем. Девушка вылезла из кабины. Пантелеев оглянулся, увидел, что ее нет, и глубоко вздохнул. Он был рад, что на минуту остался один.

Эх! Если б все происходившее на его глазах в этой наспех сформированной дивизии было только от неопытности! И не только безрукость Кудинова всему виной! С неопытностью так ли, иначе, а придется прощаться в боях. И командира дивизии можно найти порукастен. Если б дело только в этом полбеды! А беда в том, что ни Кудинову, ни этому мордастому растерянному Бабурову ни старшему лейтенанту - начальнику штаба батальона - всем троим не хватило сегодня самого обыкновенного гражданского мужества,-а этого Пантелеев не прощал ни себе, ни другим.

Начальник штаба, надеясь, что все как-ниоудь оооидется, не доложил всей правды Бабурову. Бабуров, подозревая, что ему докладывают не все, не стал докапываться, - благо это давало ему возможность на первых порах сообщить в дивизию нечто неопределенное, а тем временем исправить положение, не успев получить нагоняй. Кудинов в свою очередь посчитал, что с него хватит вчерашнего разноса за Сальково, и доложил в армию о событиях на Арабатской Стрелке, как о чем-то уж и вовсе незначительном; он надеялся, что все обойдется, а на случай катастрофы у него оставалась ссылка, что он хотя и не полностью, но все же кому-то что-то заранее докладывал. Так одна ложь наворачивалась на другую и росла как снежный ком, а где-то за девять километров отсюда погибла - всем своим чутьем военного человека Пантелеев знал, что именно погибла,- рота, которую, может, и удалось бы выручить, если б сразу, со вчерашнего вечера, все делалось иначе.

Откуда черт возьми, взялось это поветрие, которое он заметил еще на финской войне? Откуда в Красной Армии, в Красной, в Рабоче-Крестьянской, в той, которой он отдал всю свою жизнь и которую любит больше жизни, откуда в ней взялись эти люди, которые боятся донести о неудаче больше, чем самой неудачи, боятся ответственности за потери больше самих потерь! Люди, которых до конца вылечит или до конца разоблачит только

сама война!

Девушка-шофер влезла в машину и захлопнула дверцу.

- Можно ехать, товарищ дивизионный комиссар! - подойдя с другой стороны, через стекло кабины прокричал Бабуров.

Пантелеев со злостью взглянул на него. Когда человек расплачивается собственной жизнью за то, что он в свое время струсил доложить правду. - в конце концов, черт с ним, с дураком, по когда за это расплачивается жизнью не он, а другие... Пантелеев даже скрипнул зубами и, отвернувшись от Бабурова, тихонько тронул за плечо девушку: - Езжай!

Лопатин ехал в грузовике стоя. Улегшись грудью на крышу кабины, он разложил перед собой карту Арабатской Стрелки и, прижав ее от ветра локтями, сверял с местностью. Через десять минут машина проехала мимо стоявшей на горке маленькой пустой деревни, так и помеченной на карте "Геническая горка". Отсюда был виден Геническ. Впереди тянулась насыпь узкоколейки, возле которой, километрах в двух, что-то чернело. "Очевидно, это и есть морская батарея, о которой говорил командир полка", - подумал Лосатин. Еще дальше виднелась пыльная зелень посадок и крыши домов. "Пионерлагерь", - прочел на карте Лопатин. За пионерлагерем стоял еще один дом, окруженный деревьями, а там, до самого взобравшегося на гору Геническа, тянулся только серо-желтый песок косы.

Машина спустилась с Генической горки, поехала вдоль насыпи узкоколейки и затормозила так резко, что Лопатин уронил очки на крышу кабины и едва успел подхватить их. К счастью, они но разбились!

Пока Лопатин ловил очки, надевал их, складывал и засовывал в планшет карту, вылезший из кабины Пантелеев проворно взобрался на насыпь узкоколейки и, прикрываясь от солнца рукой, стал смотреть то вправо, то влево. Взобравшись вслед за ним, Лопатин увидел не совсем обычную картину, которую уже с минуту молча наблюдал Пантелеев: впереди остановившейся машины, по обеим сторонам насыпи, растянувшись примерно на километр по фронту, наступала наша стрелковая рота. Она наступала, расчленившись по всем уставным правилам, по которым положено наступать роте в непосредственной близости к противнику. Командиры шли в боевых порядках, люди то по команде залегали, то снова вставали, перебежками катя за собой пулеметы. Все это выглядело так, словно рота идет под огнем противника и вот-вот встретится с ним. Но над Арабатской Стрелкой стояла абсолютная тишина. До конца косы оставалось пять километров, впереди, за километр, теперь уже ясно видные, стояли на

позициях наши орудия, а за ними виднелись ряды проволочных заграждений, верхушки надолбов и насыпь противотанкового рва.

Пантелеев послал адъютанта остановить роту и позвать ее командира. Сняв фуражку, он вынул из кармана платок и вытер потную бритую голову.

- Что вы на это скажете? - засунув платок в карман, через плечо сказал он Лопатину. - В бирюльки они тут, что ли, играют?

Лопатин пожал плечами, но не успел ответить. К Пантелееву уже подбегал молодой лейтенант - командир роты.

- Скажите мне, товарищ лейтенант, - спросил Пантелеев, жестом руки обрывая начатый доклад, - что вы тут делаете со своей ротой? На кого наступаете?

- На немцев, товарищ дивизионный комиссар. Там немцы! - лейтенант ткнул пальцем в горизонт.

- А где именно т а м?

Лейтенант, который до этого отвечал уверенно, с сознанием своей правоты, замялся и уже менее уверенно еще раз ткнул пальцем туда, где стояла наша морская батарея.

- Немцы не там, - сказал Пантелеев спокойно и терпеливо, словно он стоял с указкою в классе. - Там наша морская батарея, а немцы - они вон где... - и он показал в направлении Геническа. - Вон там и, может быть, немножко ближе. Предполагаю, километров за пять отсюда. Вы что же, так и будете наступать до них все эти пять километров перебежками? А потом, когда и в самом деле дойдет до огня и штыка, у вас для атаки ни сердца, ни ног не хватит! Вы подумали об этом?

Лейтенант ответил, что ему было приказано развернуть роту в боевые порядки и наступать. А где немцы - за пять километров или за километр, ему не сказали. Ему только сказали, что наших впереди никого нет.

Пантелеев вздохнул. Что было сказать этому стоявшему перед ним лейтенанту, совсем мальчику, только что из училища, как видно, старательному и, что особенно понравилось в нем Пантелееву, не трусившему перед начальством, а только пытавшемуся честно объяснить, почему он и его рота поступали так, как они поступали? Может быть, всего через час этот самый лейтенант поведет свою роту и храбро будет стараться делать все по уставу уже не в этой почти учебной тишине, а под разрывами самых настоящих снарядов. В душе Пантелеева шевельнулось отеческое чувство. Может быть, сейчас его собственный сын, такой же лейтенантик, как этот, только что окончивший такое же пехотное училище, так же делает совершенно не то, что нужно, не по глупости или трусости, а по неопытности и потому, что ему, не дай бог, тоже не повезло: попались горе-начальнички вроде

Кудинова и Бабурова, которые, кажется, два сапога - пара.

- Бабуров, - повернулся Пантелеев, намереваясь адресоваться с выговором не к лейтенанту, мало в чем повинному, а к командиру полка. Он был настолько убежден, что тот стоит за его спиной, что физически чувствовал это.

Но командира полка не было.

- Где Бабуров? - тихо спросил Пантелеев.

Все недоуменно молчали.

- Где Бабуров?! - уже яростно гаркнул он, и Велихов, изумленно округлив глаза, доложил, что, когда все вылезли из машины, оказалось, что полковника Бабурова в ней не было. Должно быть, он остался там, где они в последний раз останавливались, - у штаба батальона.

- Может быть, прикажете съездить за ним на машине, товарищ дивизионный комиссар, я быстро, за пятнадцать минут в два конца, - предложил Велихов.

- Черт с ним, - сказал Пантелеев. - Поехали! Обойдемся без него.

И он побледнел так, что Лопатин понял - теперь полковнику несдобровать.

Пантелеев распорядился, чтобы большую часть роты с пулеметами посадили на три грузовика, которые к этому времени появились неизвестно откуда и остановились поодаль от машины дивизионного комиссара. Его нисколько не удивило это. Он по опыту знал, что приехавшее на передовую начальство часто обрастает непрошеным эскортом. В одном из грузовиков сидели двое инструкторов из Политотдела армии; во втором - неизвестно откуда взявшийся комиссар полка; кто был в третьем, Пантелеев так и не поинтересовался. Бойцы, довольные неожиданной переменой, стали весело и шумно рассаживаться по машинам.

- Грузовики поведете по дороге вплоть до последних строений и посадок, какие увидите. Там оставите их и уже по открытому месту, по открытому понятно?..

- Понятно, - сказал лейтенант.

- ...поведете людей рассредоточенпо. Но и рассредоточенпо людей водят по-разному, - терпеливо объяснял Пантелеев. - Пока нет огня - одно дело, откроют огонь - другое дело. Ото вам тоже понятно?

- Понятно, товарищ дивизионный комиссар.

- А тех, кто не влезет в грузовики, построить и поручить одному из ваших комвзводов вести ускоренным маршем вдоль насыпи, тоже до последних посадок. Действуйте!

Пантелеев, проводив взглядом весело побежавшего к своим бойцам лейтенанта, с угрожающим видом повернулся к молча

стоявшему рядом с ним комиссару полка, черноволосому старшему политруку, и - вдруг раздумал. Комиссар, в противоположность Бабурову, все-таки догпал его: не побоялся в эту явно невыгодную минуту явиться ему на глаза. Впереди, очевидно, бой, а там, к вечеру, будет окончательно видно, кто чего стоит - и Бабуров, и комиссар полка, и командир этого батальона, если он еще жив, и лейтенант, который сейчас грузится на машины вместе со своей ротой, и многие, многие другие люди.

- Садитесь с нами, поедем, - сказал Пантелеев комиссару полка.

Машина снова тронулась. Через километр она остановилась у позиций морской батареи. По обеим сторонам насыпи, в полусотне метров друг от друга, стояли четыре тяжелых морских орудия на тумбах. У орудий была морская прислуга. Лопатин еще издалека, из кузова машины, увидел черные бушлаты моряков.

Командир батареи - морской лейтенант-артиллерист - вышел на дорогу к остановившейся машине. Пантелеев вылез ему навстречу; он не любил разговаривать с людьми, высунувшись из кабины.

Артиллерист был высокий и худой; черные клеши его брюк подметали пыль на дороге, на свежем бумажном синем френче блестел значок мирного времени "За отличную стрельбу". У него было долгоносое лицо и белесые, казавшиеся подслеповатыми глаза.

- Разрешите д-д-до-ложить... - сильно заикаясь, сказал он. - Вч-ч-ера в д-д-двадцать п-пятнадцать...

- Вы что, от рождения заикаетесь? - перебил его Пантелеев. - Или вас немцы так напугали? И вообще, что вы тут все заикаетесь? Один заикается, другой заикается! - неожиданно для себя крикнул Пантелеев; все накопившееся в нем за утро раздражение прорвалось в этом крпке.

- Я з-з-заикаюсь о-от р-рождения, - еще сильнее заикаясь, ответил побледневший артиллерист. - И я н-н-не понимаю, по какому п-праву вы, т-товарищ д-дивизионный комиссар, п-позволяете себе...

- Ладно, - миролюбиво перебил его Пантелеев. - Извиняюсь.

Надоело, что все кругом только и делают, что заикаются, ничего толком не знают, - вот на вас и отыгрался, а вы как раз и не виноваты. Продолжайте докладывать.

Артиллерист, отходя от обиды и заикаясь все меньше и меньше, доложил, что уже четверо суток, с тех пор как их поставили здесь, он ни от кого не получал ни одного приказания, что, несмотря на его просьбу дать им хоть какое-нибудь

прикрытие, командир полка так ничего и не дал, сказал: "Успеется!" - а вчера вечером, когда стемнело, впереди раздалась беспорядочная орудийная, пулеметная, автоматная стрельба, сначала в одном месте, потом в другом, и продолжалась около двух часов. Он не знал, куда ему бить своей батареей, потому что боялся ночью ударить по своим, а никто из пехотных начальников - ни сверху, ни снизу - не прислал ни одного связного. Тогда он приказал ночью вырыть окопы вокруг своей батареи и на всякий случай положил в них часть прислуги с винтовками и гранатами. На рассвете он увидел, что немцы двинулись от пионерлагеря по направлению к батарее. Увидев это, он отдал приказание подготовить орудия к взрыву, а сам открыл по немцам огонь прямой наводкой. Еще только светало, видимость была плохая, они били сначала прямо по немцам, по дороге, потом перенесли огонь на пионерлагерь и на дорогу за ним. Когда совсем рассвело, выяснилось, что немцев в поле зрения батареи больше нет. Не видно никакого движения и в пионерлагере.

- Единственный человек среди всех вас, который, не заикаясь, доложил, что и как было, - укоризненно обратился Пантелеев к комиссару полка, когда артиллерист закончил свой доклад. - Стыд и срам! Шестнадцать часов прошло, а в полку до сих пор не знают, что с их передовой ротой - живая она или мертвая. А в полку, между прочим, всего девять стрелковых рот! - озлясь, крикнул он. - Девять дней так провоюете, с чем - с одним штабом останетесь?!

Сердце его было полно горечи. Хотя он вслух говорил еще предположительно, но про себя знал - с передовой ротой ночью случилась катастрофа.

- Товарищ дивизионный комиссар, забыл доложить, - обратился к Пантелееву артиллерист и высказал догадку, что, очевидно, немцы ночью переправили на косу орудия, потому что, когда батарея открыла огонь, немцы в свою очередь выпустили по ней несколько снарядов малого калибра с близкой дистанции.

- Переправили орудия? - переспросил Пантелеев и недобро усмехнулся. - У вас там были впереди какие-нибудь пушки? - спросил он комиссара полка.

- Были два противотанковых орудия, - с готовностью, почти с радостью ответил тот. За все время Пантелеев впервые прямо спросил его о чем-то.

- Вот из них немцы и стреляли, из этих ваших двух орудий, - сказал Пантелеев убежденно и зло. - Они, немцы, не дураки, им незачем сюда свои орудия тащить, когда проще ваши взять.

В его словах была яростная ирония человека, глубоко страдающего от всего увиденного и услышанного.

За руку простившись с артиллеристом, Пантелеев сел в машину и поехал к видневшемуся впереди пионерлагерю. Три машины с бойцами, догоняя машину Пантелеева, пылили позади.

- Эй, Велихов! - высовываясь из кабины, крикнул Пантелеев адъютанту. Встаньте на дороге и задержите их, скажите, чтоб ехали с интервалами. А то, не ровен час, влепят залп из Геническа сразу по всем.

Велихов выскочил из грузовика, а машина запылила дальше.

Через пять минут она подъехала к пионерлагерю. Было по-прежнему тихо. Пантелеев, а за ним все остальные вылезли из машины.

"Вот оно, то место, где нынешней ночью были немцы", - подумал Лопатин. Издали, с артиллерийских позиций, дома пионерлагеря казались целыми, только у одного была странно повернута крыша; здесь, вблизи, все выглядело разгромленным - в стенах были проломы, окна и двери вылетели, штукатурка была разодрана осколками.

- Ну-ка, ну-ка, - сказал Пантелеев, - посмотрим, верно ли тут были немцы, а то я за сегодня уже так к вранью привык, что на честных людей бросаюсь. - Он повернулся к Лопатину: - А ничего этот артиллерист-то мне: "Не понимаю, почему п-п-позволяете..." Заика, а с характером, не хочет, чтоб зря обижали.

Он шел первым, Лопатин вслед за ним.

У дороги в канаве валялось три вдребезги разбитых немецких мотоцикла с колясками. Тут же лежало несколько изуродованных трупов.

- Молодец, не соврал, - остановясь, сказал Пантелеев. - Немцы тоже смертные: влепил по ним залп - и сразу оглобли завернули!

Еще несколько убитых немцев лежало возле домов пионерлагеря. В последнем доме - столовой, в разбитых снарядом сенях, валялась на боку опрокинутая взрывом кадка.

Куски свежезасоленной розовой свинины были расшвыряны по полу, а в луже рассола, прислонясь к стене, сидел мертвый немецкий лейтенант. У него было совершенно целое, не тронутое ни одним осколком, бледное, красивое лицо с упавшими на лоб волосами и словно вскрытый в мертвецкой, распахнутый сверху донизу живот, из которого вывалились на пол начавшие чернеть внутренности.

- Слезай, приехали! - шепнул на ухо Лопатину догнавший их Велихов, кивнув на мертвого немца и лежавшие у дверей обломки мотоцикла.

Лопатин поморщился. Он не любил, когда шутили над смертью.

Обойдя пионерлагерь и приказав Велихову подсчитать,

сколько всего убито немцев, Пантелеев вернулся к машине, и она тронулась вслед пылившим впереди трем грузовикам с пехотой. Еще через минуту все четыре машины остановились у последнего домика с купой деревьев. Дальше, до самого Геническа, было открытое место. Все вылезли, и Пантелеев приказал отправить грузовики обратно к пионерлагерю.

- Что вы нас гоните, товарищ начальник? - быстрым южным говорком сказала девушка-шофер, выслушав это приказание. - Что же вы, пешком пойдете? Я вас под самый Геническ разом подвезу. Дорога известная!

- Закинут в кузов мину, и как не бывало - ни тебя, ни твоей полуторки, - улыбнувшись, потому что не улыбаться, разговаривая с ней, было невозможно, ответил Пантелеев.

- Так я же не одна, вы же со мной поедете.

- А со мной не страшно, что ли?

- Конечно. - Она пожала плечами.

- А как тебя зовут, а, шоферка?

- Паша.

- А фамилия?

- Горобец.

- Так вот, слушай меня, Паша Горобец. Поезжай-ка ты отсюда подальше! И чтобы я тебя больше не видел поблизости, попятно тебе, дочка?

И в его голосе и глазах было что-то, заставившее ее смутиться, как девочку, и робко, без слов, пойти к своей машине.

- Вот теперь рассредоточивайте людей и пойдем, - сказал Пантелеев командиру роты, когда отъехали машины. - Боюсь, что теперь и правда впереди никого наших нет... живых:, - добавил он после тяжкой паузы.

Он приказал лейтенанту взять с одним взводом влево, комиссару полка вправо, а сам с Лопатиным, Велиховым, двумя политотдельскими инструкторами и несколькими бойцами пошел в центре. Впереди, в трехстах метрах от домика с деревьями, виднелась линия окопов. Комиссар полка сказал, что там вчера сидел, во втором эшелоне, один из взводов той роты. Он сказал "той", избегая слова "погибшей", хотя все уже чувствовали, что рота погибла.

Лопатин шел на два шага позади Пантелеева, поглядывая вперед, на Геническ, и с содроганием думая, что немцы оттуда прекрасно их видят и вот-вот начнуть стрелять.

Но немцы не стреляли, на Арабатской Стрелке по-прежнему стояла тишина. С обеих сторон было видно море; справа, в километре, - Азовское, а слева, совсем рядом, - Сиваш. Земля, по которой шел Лопатин, была голая, песчаная, с редкими пучками

травы, она все время осыпалась под ногами. День стоял душный, серый, без солнца, с полудня скрывшегося за облаками, Сиваш однообразно и негромко шумел. Все казалось таким пустынным, что Лопатин был уверен - впереди на косе нет ни своих, ни немцев.

Бойцы, шедшие на несколько шагов впереди Пантелеева и Лопатина с винтовками наперевес, приблизились к самым окопам. Лопатин вспомнил, что у него тоже есть наган, и вынул его из кобуры. Около окопов лежали мертвые наши, на первого из них Лопатин от неожиданности чуть не наступил. Рядом лежал второй, третий, четвертый... Судя по количеству разбросанных винтовок, подсумков и противогазов, в окопах размещалось человек тридцать, но трупов было меньше - десятка полтора, причем лишь пять или шесть из них лежало в окопах, а другие все - на открытом месте, - должно быть, люди побежали из окопов назад, и здесь-то их и убили.

"А остальных, наверное, увели в плен", - подумал Лопатин, глядя на трупы, застывшие в разных позах, но чаще всего ничком, уткнувшись мертвыми головами в песок. Его охватило уже несколько раз испытанное им на войне чувство страха, загадочности и непоправимости, которое рождается у человека, попавшего туда, где все мертвы и нет никого, кто бы мог рассказать, что здесь произошло несколько часов назад.

А Пантелеев думал в эту минуту совсем о другом. Он мысленно восстанавливал картину случившегося здесь ночью, и она вовсе не казалась ему загадочной, - наоборот, все, что здесь произошло, было видно как на ладони, и это уязвляло его в самое сердце.

- Из всего взвода только несколько человек дрались как надо, - сказал он, останавливаясь возле Лопатина. - А тех, что побежали от огня, немцы, конечно, перестреляли. Высадились, перестреляли и в плен забрали, повторил он со злобой. Он был сейчас безжалостен к погибшим, и в то же время в нем кипела такая обида за их нелепую смерть, что, казалось, он готов был заплакать.

- А немцев, думаете, много было? Больше нас? Высадились, постреляли немножко, а мы, конечно, побежали - кого убили, кого в плен взяли, - не в силах остановиться, говорил оп с тем раздражительным самобичеванием, которое в горькие минуты проявляется даже в самой сильной и деятольной русской натуре.

Обернувшись к лейтенанту, он приказал искать немецкие трупы. Через пять минут ему доложили, что немецких трупов не найдено, и это окончательно расстроило его.

- Или, когда отходили, утащили с собой, или и вовсе не было,

кроме тех, что артиллеристы набили. Вполне возможно, что и так.

Паника, паника! - воскликнул он. - Что она с нами делает, эта паника, сами себя не узнаём!

В двухстах шагах за окопами, на отмели, бойцы нашли еще два трупа. Какой-то боец, наверно санинструктор, тащил на себе раненого младшего лейтенанта. Так их и убили немцы, так они, один на другом, и лежали на отмели.

- Ничего, когда-нибудь за всех сочтемся, за всех и каждого! - сказал Пантелеев, постояв над трупами. - Вы что, с одним наганом воевать думаете? - повернулся он к Лопатину. - Возьмите, скоро в атаку пойдем.

Он кивнул на винтовку, лежавшую на песке рядом с убитым санинструктором, и Лопатин увидел, что у самого Пантелеева уже закинута за плечо винтовка.

Пальцы убитого еще держались за брезентовый ремень, и Лопатину пришлось дернуть винтовку. При этом оба трупа, один на другом, шевельнулись, и Лопатин вздрогнул.

- Человек-то вы обстрелянный или еще нет - позабыл вас спросить? сказал Пантелеев, когда Лопатин уже с винтовкой догнал его.

Что было ответить на это? Что по тебе стреляют третью войну, а сколько раз довелось выстрелить самому - можно сосчитать на пальцах? И как это называть - обстрелянный ты или нет?

- Можно считать - обстрелянный, но в атаки ходить не ходил, - сказал Лопатин дожидавшемуся его ответа Пантелееву.

- Ясно, - сказал Пантелеев.

Над косой по-прежнему стояла такая тишина, словно немцы вымерли. Метров через восемьсот Лопатин первым увидел торчавшие впереди стволы двух пушек.

- Смотрите-ка, что это? - воскликнул он.

- Обыкновенно что, - продолжая шагать, с равнодушной язвительностью отозвался Пантелеев. - Наши брошенные противотанковые орудия. Стыд и позор, а больше ничего особенного.

Подойдя к пушкам, все остановились. У обеих были изуродованы замки.

- Ваши? - кивнул на пушки Пантелеев, обращаясь к комиссару полка.

- Наши, - угнетенно ответил тот.

- Вот из них немцы и стреляли. Захватили и повернули, а когда отошли взорвали.

Опершись о ствол пушки, Пантелеев рассматривал замок.

- Гранатами рванули.

Он разогнулся и, поправив на плече винтовку, своей грузной, по быстрой походкой снова зашагал к находившимся где-то там, на краю Стрелки, последним нашим окопам.

5

Минометный залп так внезапно нарушил странно затянувшуюся тишину этого дня, что Лопатин со всего маху бросился на землю.

Мины легли близко от шедших первыми Пантелеева и Лопатина, и их обоих горячо обдало землей и дымом. Пантелеев вскочил, коротким движением стряхнул землю с плеч и, не оборачиваясь, пошел вперед. Лопатин последовал его примеру. У него было бессмысленное, но от этого не менее сильное желание держаться как можно ближе к этому человеку.

Когда Лопатин на другой день пробовал вспомнить эти пять, а может быть, десять минут, этот километр, который они, время от времени залегая, пробежали и прошли под минометным огнем, у него осталось в памяти два чувства: ему все время было очень страшно, и он все время хотел только одного - поскорей добежать до окопов, не зная, есть ли там немцы или нет, и не думая об этом. Он боялся только рвавшихся кругом мин и этого остававшегося до окопов открытого пустого куска косы.

Как потом сказал Пантелеев, немцы стреляли плохо, на двойку.

Но это можно было сказать потом, добравшись до окопов и отдышавшись. А сейчас в воздухе жужжали осколки, чадила зажженная трава, и люди рядом с Лопатиным все чаще ложились, задерживались, двигались ползком.

Наверно, так поступал бы и сам Лопатин, если б не Пантелеев, который в первый раз, как и все, бросившись от неожиданности на землю, теперь почти безостановочно шел вперед, не пригибаясь при перелетах, шел так спокойно, словно это было единственное, что возможно сейчас делать. Сворачивая то влево, то вправо, он шел зигзагами вдоль цепи, мимо падавших, прижимавшихся к земле людей. От времени до времени он нагибался, толкал то одного, то другого бойца в плечо и говорил так, словно тот заспался:

"Эй, братчик, эй, землячок..." - и толкал еще раз, сильнее. Тот поднимал голову.

- Чего лежишь? - спрашивал Пантелеев.

- Убьют, - испуганным шепотом отвечал боец, словно боясь громко произнести это слово.

- Ну что ж, что убьют, - на то и война, а ты думал, стрелять не будут? Вставай, вставай, братчик, я ж стою, и ты встань. Лежать будешь - скорей убьют. Гляди, другие-то поднимаются!

А другие, и правда, уже поднимались и шли вперед, и то, что рядом с прижавшимся к земле оробевшим человеком стоял, не пригибаясь, другой, спокойный и неторопливый, действовало почти на всякого. Какая-то сила поднимала его с земли и ставила рядом с Пантелеевым. И как только он, встав, видел, что кто-то рядом еще продолжает лежать, он сам, молча или с руганью, начинал поднимать соседа.

Это чувство испытал и Лопатин. После трех пли четырех близко разорвавшихся мин, уже не в силах заставить себя подняться, он увидел стоявшие рядом на земле сапоги Пантелеева:

- Давай, давай, вставай, корреспондент... Майор все же...

После этого он пошел за Пантелеевым не отрываясь - приседая, когда тот останавливался, и ложась, когда тот приседал, но каждый раз неизменно поднимаясь. Должно быть, потому, что они шли впереди, Лопатин не заметил, чтобы кого-нибудь убили. Он слышал сзади крики раненых, наверное, кроме раненых там были и убитые, но шел не оглядываясь, и ощущение, что убитые и раненые оказываются каждый раз где-то сзади, тоже подгоняло его.

Окопы теперь были совсем близко. Минометный огонь прекратился как по команде, и Пантелеев безошибочно понял, что мин больше не будет, что минометчики боятся ударить по своим, а в окопах сидят немцы, которые сейчас, сию секунду, или но выдержат и побегут, или откроют огонь.

- Ура! - закричал он, повернувшись к поднимавшимся вокруг него с земли бойцам, сорвал винтовку с плеча и, привычно бросив ее на руку, не оглядываясь, побежал вперед.

Застрочил и смолк немецкий пулемет, треснуло несколько винтовочных выстрелов, и Пантелеев увидел, как совсем близко, из окопа, один за другим торопливо выскакивают и бегут назад, к морю, немцы. Как ему показалось, он прыгнул в окоп первым, по в ту же секунду несколько бойцов, обогнав его, перемахнули через окоп, преследуя немцев.

Пантелеев на мгновение прислонился горячей потной головой к стенке окопа, после быстрого бега ему не хватало воздуха, годы давали себя знать. Глотнув комок слюны, он выглянул из окопа.

Чуть не задев его сапогами, через окоп перепрыгнуло еще несколько красноармейцев. Два десятка немцев опрометью бежали вниз, туда, где из-под воды торчали пролеты плохо взорванного моста. Бойцы гнались за немцами, стреляя на ходу. Пантелеев примостился поудобнее, сдвинул локтем осыпавшуюся землю и, каждый раз тщательно прицеливаясь, выпустил по

немцам обойму. Он был хорошим стрелком, и двое из бежавших к воде немцев упали именно от его выстрелов. Второй - на самом берегу, головой в воду.

Этот немец, кажется, был последним. Красноармейцы настигли всех, кто выбежал из окопов, и теперь на прибрежном песке были видны только серо-зеленые пятна трупов и фигуры суетившихся вокруг них бойцов, забиравших документы и оружие.

- Эй! - закричал Пантелеев, вылезая во весь рост на бруствер. - .Эй, Велихов, прекратите, ночью соберете, сейчас они из Геническа огонь откроют! Людей потеряете!

Вошедший в азарт Велихов не слышал приказания и вдвоем с каким-то бойцом продолжал обыскивать труп здоровенного немца.

- Эй ты, Велихов! - заорал Пантелеев. - Марш в окоп, сейчас убьют, как идиотов!

Боец с натугой поднял на плечи грузное тело немца и поволок его наверх, к окопу, а Велихов, придя в себя, стал звать обратно других красноармейцев.

Пантелеев боялся, что немцы откроют огонь из Геническа. Но немцы огня не открывали. Может быть, по своей самоуверенности они еще не поверили в случившееся. Увидев, что бойцы благополучно возвращаются, Пантелеев вспомнил о корреспонденте.

"Уж не убили ли этого очкастого, которого редактор просил по возможности беречь?"

- Эй, корреспондент, корреспондент! - позвал он, не в состоянии вспомнить забытую в горячке фамилию Лопатина.

Лопатин был жив и находился всего в десяти шагах от Пантелеева, за изгибом окопа. Когда он вскочил сюда вслед за Пантелеевым и бойцами, немцев тут уже не было. На дне окопа валялись солдатские ранцы, серо-зеленая немецкая пилотка, согнутая ложка и несколько гранат с длинными деревянными ручками; в полукруглой выемке, на земляном столе, стоял ручной пулемет с длинным, как червяк токарного станка, хоботом.

Лопатин стоял возле этого пулемета, слыша, как где-то впереди еще стреляют; но сам он был не в силах сдвинуться с места.

У него не было ни мыслей в голове, ни страха в душе - лишь одна усталость после всего пережитого.

Выстрелы впереди смолкли. Лопатин еще раз поглядел на немецкий пулемет и решил, что надо перенести его через окоп и повернуть в сторону немцев так, как немцы сделали с нашими пушками. Он только что поднял на руки пулемет, как из-за угла

окопа появился Пантелеев. От неожиданности Лопатин шагнул назад и выпустил из рук пулемет.

- Тише ты, слои, - охнул Пантелеев, потирая ушибленную ногу, и сам рассмеялся, - так не похож был на слона растерянно стоявший перед ним Лопатин.

- Извините, - сказал Лопатин и, начав поднимать пулемет, уронил на него очки, одна дужка которых надломилась еще во время атаки, когда он в первый раз бросился на землю. Очки звякнули по железу, одно стекло разлетелось на мелкие осколки.

Пока Лопатин поднимал очки, Пантелеев, нагнувшись, коротким движением подхватил пулемет, поставил на бруствер и стал рассматривать магазин.

- Так и есть, - сказал он, взглянув на подошедших бойцов. - Заклинило патрон, поэтому и задохся; всего очередь выпустил.

Значит, повезло нам с вами, а, братчики? - обратился он уже прямо к бойцам.

- Выходит, повезло, товарищ дивизионный комиссар, - заметно окая, отозвался один из бойцов.

- А вот и не угадал, вологодский, - чуть заметно передразнив его, сказал Пантелеев. - Напугали мы с тобой немца, смело шли на него - оттого и заклинило. Поспешил - и ленту перекосил. А если бы и перекосил, да не струсил - быстро поправил бы, вот так, - Пантелеев сделал два четких, как на уроке, движения, нажал на гашетку и дал громкую очередь. - Раз-два, и готово, а он струсил и бросил!

Пантелеев, так же как и все, отдыхал от пережитой опасности.

Большой, но оставшийся позади риск; маленькая, но все-таки - победа; разговор с солдатами в только что отбитом окопе - такие минуты, как эта, были самыми счастливыми во фронтовой жизни Пантелеева. Он не считал обстрелянными солдатами людей, просто пролежавших под огнем, но не одержавших ни одной, хотя бы самой малой, победы. Люди способны привыкнуть и даже притерпеться к опасностям - но это одно, а стать обстрелянным человеком значило, в понимании Пантелеева, одержать свою первую победу. Не просто умом, а собственной шкурой понять, что ты способен на нее.

- Товарищ дивизионный комиссар, разрешите доложить?

Пантелеев обернулся. Перед ним стоял сиявший от счастья Велихов.

- Немецкого полковника убили. Давай, клади, - повернулся Велихов к здоровенному бойцу, тащившему на плечах тело громадного немца. - Опускай!

Боец отпустил одну руку, и мертвец тяжело сполз на дно

окопа. Это был немолодой немец, очень большого роста, с черными усами, белым лицом и зажмуренными глазами - так в ужасе зажмуривается человек, ожидающий удара в спину. Сукно его мундира дочерна намокло от крови.

- Штыком его, - сказал принесший немца боец и коротким движением обеих рук показал, как он ударил немца штыком в спину.

- Оно и видно, что штыком, - сказал Пантелеев, разглядывая немца. - А откуда же решили, что полковник?

- А смотрите, пожилой и нашивок сколько, - все так же счастливо улыбаясь, сказал Велихов. - И пистолет взяли у него. - Он показал на засунутый за ремень гимнастерки парабеллум.

Велихову, всем окружавшим Пантелеева бойцам и Лопатину, который без очков, близоруко нагнувшись, рассматривал немца, всем хотелось, чтобы этот мертвый действительно оказался полковником. Но Пантелеев при всем желании не мог подтвердить этого. Хотя у немца, и правда, мундир был в нашивках, но погоны говорили, что он всего-навсего фельдфебель.

- Полковник еще впереди, а это пока фельдфебель, - помедлив, сказал Пантелеев.

Подошедший командир роты доложил, что все окопы заняты и немцев по первому подсчету уничтожено до тридцати человек.

- Вчера с нашими запросто управились и решили - больше взвода не оставлять! - сказал Пантелеев. - Нахалы все-таки!

Сколько у вас потерь в роте, подсчитали?

- Подсчитываем! Около сорока. Кладу одну четверть на убитых, - с не понравившейся Пантелееву легкостью начал лейтенант.

- Подождите класть, - перебил его Пантелеев, - лучше пошлите санитаров за теми, кто на косе раненый лежит. А то пока там, сзади, додумаются...

Пантелеев вспомнил Бабурова, беспорядок, с которого началось утро, и нахмурился:

- А наших, ночью убитых, возле окопов много лежит?

- Несколько человек видел.

- Командира батальона не нашли?

- Нет, не опознали.

- Похороните всех до одного, - строго сказал Пантелеев. - А то у нас так рассуждают: моей роты - похороню, а не моей роты - пусть птицы клюют. Водится у нас еще такое хамство.

- Я и собирался похоронить, товарищ дивизионный комиссар.

- А я не про вас. Я просто, чтобы учли, как некоторые другие поступают.

Пантелеева беспокоило, чтобы здесь не повторилась вчерашняя история. Уж больно невыгодна была эта открытая позиция, все подходы к которой просматривались немцами из Геническа.

В то же время дать приказ отойти с этих неудобных позиций, предоставив немцам возможность снова высадиться здесь, Пантелеев не хотел, особенно после сегодняшней удачной атаки. Он верил, что роту можно оставить здесь; теперь она не побежит и будет драться. Но одной веры было мало: следовало наладить связь и организовать поддержку из глубины огнем, а в случае необходимости - резервами.

Приказав поправить окопы, а в нескольких местах углубить их, Пантелеев отпустил командира роты и, оставшись вдвоем с комиссаром полка, сурово сказал ему, что если бы полчаса пазад, во время атаки, он оказался не здесь, в роте, а там, где остался Бабуров, то пошел бы под трибунал вместе с командиром полка.

- А этого прохвоста, - свирепо, но тихо, так, чтобы слышал один комиссар, сказал Пантелеев, - я еще сегодня с чистой душой отдам под трибунал, а вынесут расстрел - подпишу расстрел.

Рука не дрогнет, будьте покойны!

И он тяжело сжал в кулак свою большую волосатую шахтерскую руку.

- А люди у вас здесь, в этих окопах, на острие ножа, и им брехать нельзя. Я им сказал от вашего имени, что комиссар полка им обещает порядок, поддержку, выручку, - так будьте любезны, чтобы это было не брехаловкой, а делом. Поняли? Я сейчас пойду обратно в батальон, пойдете со мной - наведем там порядок, а к ночи вернетесь сюда. Велихов! - крикнул он адъютанту. - Дай флягу, пить хочется.

Он отхлебнул глоток воды, протянул флягу комиссару и, посмотрев на сидевшего на корточках и что-то писавшего Лопатина, обратился к нему:

- Товарищ корреспондент, простите, забыл вашу фамилию...

- Лопатин, - сказал Лопатин, отрываясь от записной книжки.

- Возьмите выпейте, небось тоже горло пересохло... Да и пойдем, не зимовать же тут. Я ротон еще в гражданскую накомандовался. На сегодня с меня хватит. Тем более у нас с вами еще и другие дела есть, а?

Лопатин обрадовался, что они пойдут назад. По правде говоря, после всего пережитого он был не прочь оказаться подальше от немцев. Но комиссар полка, до этого показавшийся ему человеком безгласным, заартачился.

- Товарищ дивизионный комиссар, - сказал он настойчиво, - прошу подождать здесь, пока ие стемнеет. Настаиваю на этом,

товарищ дивизионный комиссар.

- Это почему же? - спросил Пантелеев.

- Как только вылезете из окопа - немцы по вас бить начнут.

- Начнут или не начнут - это их забота, - сказал Пантелеев, вскидывая на плечо винтовку. - А мне тут сидеть некогда. Мне надо у вас в тылу порядок навести и к ночи до Симферополя добраться.

Он повернулся к инструктору из Политотдела армии, стоявшему поблизости, и приказал ему оставаться здесь, в роте, безотлучно, пока не отзовет Политотдел. Потом вылез из окопа и, не оглядываясь, идут за ним или не идут, зашагал назад.

Вслед за ним вылезли Велихов, Лопатин и комиссар полка.

Комиссар вылез последним, и Лопатин слышал, как он вздохнул и внятно чертыхнулся. Лопатин повернулся к нему. На выпачканном землей лице комиссара было выражение огорчения и нерешительности, словно он даже теперь, уже вылезши из окопа, все еще собирался переубедить Пантелеева, но не знал, как это сделать.

- Вытрите щеку, - сказал Лопатин. - Земля. Нет, не на этой стороне.

Комиссар вытер ладонью обе щеки.

- Как теперь?

- Стерли.

- Боюсь, убьют, - отрешенно от себя сказал комиссар, кивнув на шедшего впереди Пантелеева.

Лопатин улыбнулся. Вопреки всякой логике ему казалось, что опасности позади и немцы на обратном пути не будут стрелять в них. Но едва он подумал об этом, как немцы дали сверху, из Геническа, первую пулеметную очередь. Упав и вдавившись в землю, Лопатин слышал, как срезаемая пулями трава шуршит совсем рядом. Потом стало тихо; Пантелеев поднялся, крикнул: "Ходу!" - и, быстро пройдя несколько шагов, перешел на бег.

Следующая пулеметная очередь застигла их через пятьдесят шагов. Все легли, вскочили вслед за Пантелеевым, побежали, снова легли, и Лопатин заметил, что только что бежавшего вместе с ним комиссара полка уже не было рядом. Опять упав еще через сто шагов, Лопатин полуобернулся и, не отрывая голову от земли, увидел, как двое вылезших из окопов бойцов волоком, пе поднимая с земли, тащат комиссара обратно к окопам. Пантелеев тоже обернулся. Может быть, теперь он решит вернуться назад?

Но Пантелеев и не думал возвращаться. Перебежка шла за перебежкой, пулеметные очереди резали траву. Лопатин вскакивал, бежал за Пантелеевым, падал, не выпуская из рук винтовки и всякий раз больно ударяясь о землю костяшками

пальцев. Ему хотелось бросить винтовку, но он с утра видел столько брошенных винтовок, что ему было стыдно это сделать. Падать приходилось быстро, как подкошенному. Один раз, когда Лопатин упал особенно стремительно, проехавшись носом по песку, Пантелеев, упавший рядом, повернул к нему лицо и усмехнулся:

- Ловко землю пашете!

Лопатин потерял счет перебежкам; ему казалось, что все это никогда не кончится. Наконец они еще раз вскочили - и наступила долгая пауза. Еще не веря, что немцы перестали стрелять, Лопатин пробежал сто метров и вслед за Пантелеевым перешел на шаг. И вдруг снова треснуло. Очередь легла далеко впереди них.

- Теперь не вдогонку, а по рубежам стреляют, - сказал Пантелеев. Возьмут на прицел рубеж и будут ждать, пока подойдем.

Голос у него был хриплый, и Лопатин впервые за день понял, что Пантелееву тоже страшно.

Немцы стреляли долго. То короткими, то длинными очередями.

Одна из них взрыхлила песок у самой головы Велихова. Велихов пошарил рукой и вынул из песка пулю.

- К самому носу подлетела, - сказал он, силясь улыбнуться.

Когда вслед за этим раздалась еще одна очередь, что-то сильно ударило Лопатина в бедро. Он пощупал рукой, полез в карман и вытащил оттуда две обоймы от полуавтомата, которые, сам пе зная зачем, подобрал в окопе. Одна обойма была разворочена, другая поцарапана; в штанине была дырка. Не поднимая головы, Лопатин показал развороченную обойму Пантелееву.

- А вы поглядите, может, ранило? - озабоченно спросил тот.

Лопатин потрогал ногу - нога нигде не болела.

Наконец пулеметы перестали трещать. Все трое поднялись и пошли. Бежать не осталось сил. Немцы больше не стреляли. Никому из троих не хотелось говорить.

Так молча прошли метров триста. Лопатин чувствовал, как что-то мешает идти, колет ступню.

- Может, пуля провалилась в сапог? - неуверенно сказал он.

- Вполне возможно, - отозвался Пантелеев. - Дойдем до пионерлагеря, разуешься, посмотришь.

Когда упала первая мина, Лопатин не услышал ни свиста, ни гула, лишь почувствовал силу удара чего-то рванувшегося вблизи.

Потом, вспоминая, не мог понять, как никого из них не задело ни одним осколком, но в ту секунду не успел подумать об

этом.

Едва разорвалась мина, едва он успел упасть, как Пантелеев уже вскочил и, крикнув: "Скорей перебегай, пока дым не разошелся", побежал вперед. Пробежав метров сорок, он бросился на землю.

Лопатин и Велихов - вслед за ним; и почти сразу же сзади разорвалась вторая мина.

- Левей! - снова вскочив, крикнул Пантелеев.- - Левей, к воде!

Он добежал до самой воды и быстрыми шагами пошел по берегу.

- Теперь те, что слева, - не страшные, в воду упадет, навряд ли убьет.

И когда, словно торопясь подтвердить его слова, невдалеке от берега взлетел высокий водяной столб и Лопатин и Велихов присели, Пантелеев даже не пригнулся.

Потом над головами раздался сильный, булькающий, рассекающий воздух звук, не похожий на все другие, бывшие до этого, и тяжелый взрыв грохнул за их спинами, в Геническе. Снова быстрое бульканье над головами, снова тяжелый далекий взрыв за спиной, еще и еще - двенадцать раз подряд.

- Догадался артиллерист, - облегченно сказал Пантелеев. - Ударил все-таки по немецким минометам.

Он стряхнул землю с колен.

- Интересно, начальство приказало или своим умом допер?

Прикрыл все же нас.

Лопатин долго потом не мог забыть чувства, с которым он, наконец дошагав до пионерлагеря, остановился под прикрытием крайнего дома. Ему не было видно из-за этого дома Геническа, а значит, и из Геническа не было видно его, Лопатийа. Дом был жиденький, полуразбитый артиллерией, но Лопатину казалось, что он никогда еще не чувствовал себя в такой безопасности.

6

Начальник штаба батальона, которого Пантелеев утром посулил расстрелять, если тот не переменит своего командного пункта, перебрался в пионерлагерь и встретил Пантелеева старательным докладом: что свой КП, если не будет других приказаний, он расположил здесь, что связь к артиллеристам протянута, а кроме того, он выбросил вперед, в поддержку роте, два приданных ему полковых миномета.

- Куда выбросили? - спросил Пантелеев.

Начальник штаба показал рукой вперед и налево. Уходившая к морю коса закрывалась пригорком, и минометы были не видны отсюда, но зато, наверно, могли быть видны из Геническа.

Тяжелые минометы вполне можно было поставить и здесь, в

пионерлагере. Но у Пантелеева была слабость: пережив в начале войны всю горечь отступления от Ломжи до Витебска и в душе пе примирясь с происшедшим, он каждый раз радовался стремлению людей занять позиции поближе к противнику и редко отменял в таких случаях даже нецелесообразные приказания подчиненных. Так поступил и сейчас. Минометы были не на месте, но в батальоне начинал чувствоваться порядок.

- Товарищ дивизионный комиссар, не обнаружили старшего лейтенанта Васина? - волнуясь, спросил начальник штаба батальона, с самого начала хотевший задать этот вопрос, но не посмевший сделать это раньше доклада.

- Какого Васина?

- Командира батальона.

- В плен забрали вашего Васина, - сказал Пантелеев, неохотно возвращаясь в мыслях к событиям ночи. - Среди убитых нет, значит, в плен забрали. Что он из себя представлял-то у вас?

- Хороший командир батальона, - горячо сказал начальник штаба. - Я его знаю с училища. И учился одним из первых, и кончил хорошо.

- Кончил хорошо, - все так же угрюмо сказал Пантелеев, - а войну начал плохо. А вы как училище кончили, тоже хорошо?

- Средне, товарищ дивизионный комиссар.

- Ну вот, кончили средне, а теперь за командира батальона приходится вас оставлять. Доложите командиру полка. Где он, кстати?

- Но знаю, товарищ дивизионный комиссар. Здесь его пока по было.

Пантелеев вздохнул. Всю желчь, которая накопилась у пего за день, он, сливая по капле, оставлял до предстоящей встречи.

- Комиссар полка ранен, и, как видно, тяжело, - сказал он. - Как только стемнеет - вынесите. И теперь же тяните связь в роту, чтобы до полной темноты связь была! Понятно?

- Понятно, товарищ дивизионный комиссар.

- Где моя машина?

- Сейчас придет, товарищ дивизионный комиссар, - с виноватым видом сказал начальник штаба. - Поехала ящики с минами подвезти к минометам, - и он снова указал рукой налево за песчаный гребешок. - Она и минометы туда под огнем отвезла - подцепила и отвезла, один за одним. Боевая дивчина, добавил он с молодым восхищением.

Пантелеев посмотрел на его залившееся румянцем лицо и сказал насмешливо:

- Дивчина-то боевая, да вы-то не больно боевые. Что же у вас, других шоферов нет - гоняете ее то с минометами, то с минами.

Обрадовались, что одна дивчина храбрее всех вас, мужиков, нашлась, так и ездите на ней взад и вперед!

- Тут под рукой других шоферов нет, товарищ дивизионным комиссар, а она сама вызвалась, прямо говоря, напросилась.

- Могли бы и сами на руках минометы подтащить вперед.

- Песок, товарищ дивизионный комиссар, долго, а нам побыстрей хотелось.

- Ну что ж, подождем. К медали представлю, если живая вернется.

В последних словах была укоризна, и начальник штаба вновь покраснел.

- Товарищ дивизионный комиссар, - сказал он, - разрешите доложить шпионку задержали.

- Шпионку? - недоверчиво переспросил Пантелеев. - Небось какая-нибудь баба посмелей осталась в подвале, когда все ваши драпанули, а теперь вылезла, и готово - шпионка! А уполномоченный уже рад стараться! Кто ее задержал - уполномоченный?

- Так точно, уполномоченный.

- Позовите его ко мне.

Через минуту к Пантелееву подошел уполномоченный особого отдела полка рослый парень с красивыми серыми глазами. Одет он был не по форме, вместо шинели - черная кожанка.

- Что, еще с гражданской войны таскаете? - неприязненно посмотрев на кожанку, съязвил Пантелеев. - Комиссарите?

- Нет, товарищ дивизионный комиссар, - заметив насмешку, но не теряясь, ответил уполномоченный. - Шоферская привычка.

Я финскую в шоферах служил, а потом перевели в особисты.

- Шофер, значит, - сказал Пантелеев. - Мины под огнем у вас девка перебрасывает, а вы шофер!

- Я не мог отлучиться - с задержанной допрос снимал, - сказал уполномоченный.

Он держался с достоинством, но любивший это в людях Пантелеев и тут не смягчился.

- Задержанная, - пробурчал он, - наверное, тетку Марфу из-под картошки вытащил - вот и вся ваша шпионка.

- Нет, товарищ дивизионный комиссар, задержана женщина из Геническа. Переправилась сюда, на Арабатскую Стрелку, ночью вместе с немцами, а дальше пошла с заданием - посмотреть, где и что, и вернуться в Геническ. Сообщает, что мост при взрыве только в воду осел, можно в Геническ по пояс в воде перейти.

Вообще важные показания дает - может быть, вы сами с ней поговорите?

- Ладно, посмотрим, что за птица, - сказал Пантелеев, смущенный тем, что, кажется, невпопад придрался к уполномоченпому. Он был доверчив и не стеснялся этого, потому что доверчивость редко обманывала его в жизни. Хотя теоретически и верил, что среди советских людей могут существовать шпионы, но душа его этого не принимала.

- Пойдем посмотрим, - сказал он Лопатину. - Когда еще живую шпионку увидишь, если, конечно, она шпионка! - продолжая гнуть свое, искоса взглянул он на уполномоченного.

Задержанная женщина сидела у стены сарая на кирпичах сушеного кизяка. Подле нее стоял скучающий конвоир. Пантелеев грузно опустился на козлы для пилки дров; уполномоченный и Лопатин стали рядом.

Как показалось Лопатину, женщине было уже за тридцать, не меньше. Она была некрасива, даже уродлива: землистого цвета лицо, глубоко запавшие глаза, короткая верхняя губа, обнажавшая неровные темные зубы, прямые пряди жидких и сальных черных волос, вылезавших из-под черной в мелкий горошек косынки.

Шея у женщины была тощая, а одно плечо перекошено - она была кособока и казалась худой. Но у нее были широкие бедра и грязные босые толстые ноги, никак не сочетавшиеся с маленькой птичьей головкой.

Пантелеев с минуту молча рассматривал ее и лишь потом начал задавать вопросы, к которым уполномоченный изредка добавлял свои. Женщина отвечала на все вопросы одинаковым голосом, равнодушно глядя в одну точку перед собой, независимо от того, о чем ее спрашивали и кто говорил с ней Пантелеев или уполномоченный.

Пантелеев после первого же ее ответа понял, что уполномоченный прав женщина действительно переправилась ночью вместе с немцами из Геническа и оставлена ими здесь. Она не отрицала этого.

Ее признание и полученное от нее подтверждение уже появившейся собственной догадки - что немцы могут переходить пролив по плохо взорванному мосту - исчерпывали практический интерес Пантелеева к задержанной. Однако он продолжал задавать ей все новые и новые вопросы, казалось уже не имевшие прямого отношения к делу. Он ждал ответа на один главный вопрос, который беспокоил его сейчас: что случилось, почему эта вот сидящая перед ним простая, плохо одетая женщина стала тем, кем она стала, - немецкой шпионкой? Почему она согласилась служить немцам, которые пришли в Геническ всего три дня назад, немцам, которых она раньше не знала и не видела и с которыми

ее до этого ничто не связывало?

- Пиши, Лопатин, пиши, - все более расстраиваясь по мере допроса, говорил Пантелеев. - Пригодится для истории. Если мы с тобой доживем до истории, - мрачно, непохоже на себя, пошутил он.

И Лопатжн писал.

На самом деле женщине оказалось двадцать восемь лет, она назвала большое село под Геническом, где она родилась в семье самого богатого из тамошних хозяев, у которого уже после революции были и мельница, и сельская лавка, и батраки, работавшие на арендованной земле. Отец в детстве, по пьяному делу, ударил ее поленом, разбил ключицу и на всю жизнь оставил ее кособокой.

Но потом жалел ее и обещал за ней большое приданое.

- Всего много давал, трех коней давал, - впервые за время допроса потухшие, глубоко запрятанные глаза ее блеснули от воспоминания. Наконец ее высватали, но в это время началось раскулачивание. Отца раскулачили первым в селе, и он с матерью и старшими братьями поехал в теплушке куда-то на север - говорили, в Кемь - и сгинул там. Почему ее не выслали, оставили, она не сказала, а Пантелеев не спросил. Может, потому, что ей не исполнилось еще восемнадцати.

Жениха как ветром сдуло, вместо невесты с приданым осталась некрасивая девушка с перебитым плечом, никем не желанная, да еще раскулаченная, без кола и двора. Она ушла из села в Геническ, ходила с постирушками, мыла полы, была на поденной работе, а под конец устроилась судомойкой в городской столовой, снимая углы то у добрых, то у недобрых людей. Кто знает, что творилось в ее душе все эти годы, но ее сверкнувшие снова глаза сказали Лопатину, который, следя за выражением ее лица, писал, не глядя на бумагу, что, наверное, она до сих пор все еще горит в аду воспоминаний о несостоявшемся женском счастье.

За год перед войной в Геническ вернулся ее троюродный брат, тоже из раскулаченных. Вернулся с документами на имя кого-то другого, умершего в ссылке.

- Сбежал? - спросил Пантелеев.

- Может, и сбежал, - равнодушно сказала она.

На первых порах она стала подкармливать беглеца, вынося ему по вечерам из столовой что попадалось под руку, а он стал жить с ней. Потом, осенью, его так под чужой фамилией и взяли в армию, и он уехал в часть под Измаил. А три дня назад пришел в Геническ вместе с немцами. Он рассказывал ей, что служит у них в комендатуре, приносил немецкую водку и по ночам спал с ней,

как раньше. Вчера он пришел к ней среди ночи и сказал, чтоб она шла с ним. Она пошла, не расспрашивая. Они сначала сидели на берегу и слушали стрельбу внизу, под Геническом, на Стрелке, а потом сели в лодку вместе с немецкими солдатами и переехали сюда, на косу. При этом она видела, как другие немцы в это же время переходили пролив по взорванному мосту. Он велел ей, пока не рассвело, дойти до пионерлагеря, а потом пойти в деревню Геиическая горка и еще дальше, на соляные промыслы, и посмотреть, много ли там советских или немного, есть ли пушки и где они стоят. Он велел ей, если ее спросят в Генической горке, откуда она, ответить: "С Солъпрома", а если спросят об этом же на Сольпроме, сказать, наоборот, что она из Геннческой горки. И еще он велел ей ждать, пока стемнеет, а ночью выйти берегом обратно к мосту, он встретит ее там. Он сказал, что, когда она вернется, немцы дадут ей много денег.

Когда она перестала вспоминать о прошлом, глаза ее снова потухли, и обо всем, что произошло вчера и сегодня, она говорила с поразившим Лопатина бездушием, без рас!чаяния и сожаления.

Она просто рассказывала все, как было, не выражая никаких чувств, в том числе и страха. Лишь один раз, говоря про то, как ее сожитель пришел за ней ночью и повел ее на берег, она вдруг сказала: "И я пошла за ним, как собака..." Но в этом не было самоосуждения: просто он был единственный, кто снизошел до нее, жил с ней раньше и жил с ней сейчас, и она пошла за ним, как собака, туда, куда он велел, и сделала то, что он велел.

О деньгах она сказала с бесстыдной простотой - это было не главное, главное было то, что он ей велел.

Ответив на последний вопрос, она подождала, не спросят ли еще, облизала пересохшие губы и вытерла их кончиком платка.

- У, ведьма, - раздался звонкий и злой девичий голос за спиной Лопатина, - так бы и стрелила тебя!

Он повернулся. Сзади него стояла неизвестно откуда взявшаяся шофер ка Паша Горобец.

Задержанная вскинула на нее глаза, и они долго смотрели друг на друга: черная тихая женщина, похожая в своей неподвижности на узел темного тряпья, из которого торчали только лицо и толстые ноги, и звонкая, вся как струна натянувшаяся от негодования, голубенькая шоферка, с голыми коленками, голыми до локтей, сжатыми в кулаки руками, с растрепавшимися во время езды и упавшими на шею косичками желтых пыльных волос.

- На Сольпром к нам ходила, - сказала девушка, и голос ее задрожал от гнева. - За сольпромовскую хотела себя выдать... -

Это, казалось, сердило ее больше всего. - Я на Сольпроме всех знаю, я сама сольпромовская, и никогда она сольпромовской пе была, - обращаясь к Пантелееву, продолжала шоферка, и чув

ствовалось, что это очень важно для нее - что черная женщина не сольпромовская и что на Сольпроме никогда таких не бывало.

- А она и не говорит, что она сольпромовская, - сказал Пантелеев, - она геническая, да и не геническая она, а немецкая. Пришли фашисты, и пошла за ними, как собака, - по-своему повертывая то, что сказала женщина, добавил Пантелеев, вставая.

- Чего на нее смотрите, товарищ начальник, стрелите ее, и все, просто, как о чем-то само собой разумеющемся, сказала шоферка. Потом помолчала и, уже ни к кому не обращаясь, убежденно добавила: - Я бы ее стрелила.

- "Стрелить" успеем, - сказал Пантелеев, - а вот посмотреть на нее что в нашей жизни бывает, это надо! Смотри на нее, Паша, - повернулся он к шоферке. - Смотри и запоминай.

- А чего мне ее запоминать, - с обидой в голосе отозвалась девушка. Очень мне надо ее запоминать.

- Оформляйте протокол допроса, - сказал Пантелеев уполномоченному, - и сегодня же отправляйте в Симферополь. - И другим, веселым голосом крикнул девушке: - Поехали, шоферка! Где твоя полуторка?

- За домом, сейчас выведу, - откликнулась она на бегу.

Пока шли к машине, Лопатин на ходу задумчиво вертел в руке сплющенную пулю. Она, провалившись в сапог, мешала ему идти. Он вынул ее, пока Пантелеев разговаривал с начальником штаба батальона. Вынул и забыл о ней, а сейчас захотел закурить, полез в карман за спичками и вспомнил.

- Повезло, - бросив взгляд на пулю, которую вертел Лопатин, сказал Пантелеев. - Будешь в Москве, подари мамаше или жене.

Он ждал, что Лопатин ответит на его шутку, но Лопатин не ответил. Мамаши у него давно не было, а его жене эта пуля была ни к чему; в последнее время ему все чаще казалось, что он и сам-то ей нп к чему.

Велихов, стоя перед машиной, крутил заводную ручку.

- Вы не так, - говорила Паша, - дайте я сама.

Но Велихов еще несколько раз с силой крутанул ручку, машина завелась, и Паша полезла в кабину.

- Ну и спасибочко! Только зря, я бы и сама.

- Одну минуту, товарищ дивизионный комиссар, разрешите я сена в кузов возьму, - сказал Велихов.

- Бери, бери. А то корреспондент будет на меня потом обижаться, что я в кабине сидел, а он в кузове бока намял, а

человек уже не молоденький.

Велихов притащил охапку сена, швырнул ее в кузов, забрался первым и заботливо протянул руку Лопатину.

- Побольше себе возьмите, - сказал Велихов, когда полуторка тронулась, и стал подгребать сено под бок Лопатину.

Удивительно, как всего несколько часов могут переменить человека. Утром это был еще нагловатый, глупо цукавший пожилого шофера и на каждом шагу стремившийся подчеркнуть свою значительность нахальный адъютантик, а сейчас он как-то вдруг за день похудел, и даже лицо у него стало не таким розовым, как утром, а более осмысленным и взрослым. Оттого, что он был в бою и видел, как вокруг умирают, у него появилось что-то, чего не было раньше: что-то понимающее и доброжелательное по отношению к людям, которые смертны, так же как и он сам. Наверное, он только сегодня это почувствовал, раньше знал, но не понимал. А сегодня понял, что можно не успеть сделать людям добро и не успеть исправить зло.

"А может, и нет, может, мне все это только кажется, - подумал Лопатин. - Потому что самому после такого дня, как сегодня, хочется лучше относиться к людям".

Около позиций морской батареи Пантелеев остановил машину и, еще прежде чем открыть дверцу, с радостью увидел спешившего навстречу маленького востроносого полковника, натуго затянутого в нолевую портупею и обвешанного со всех сторон всем, что полагалось иметь по штату, - наганом, планшетом, полевой сумкой и биноклем. Даже свисток на витом кожаном шнурке был засунут у полковника на свое, положенное для свистка место на портупее.

И наган, и бинокль, и планшет, и сумка были самых обыкновенных размеров, но полковник был такой маленький, что все вещи выглядели на нем большими. Фуражка у полковника была заломлена набок, а остренький носик задран вверх.

Пантелеев вышел из машины и невольно улыбнулся.

Шедший ему навстречу полковник Ульянов, заместитель генерала Кудинова по строевой части, всю финскую кампанию командовал полком в дивизии, где Пантелеев был комиссаром.

Даже на строгий суд Пантелеева он был человеком храбрым и расторопным, и очень кстати, что такой человек появился здесь, на этой, продолжавшей беспокоить Пантелеева, Арабатской Стрелке.

Ульянов лихо, даже весело отдал рапорт.

- Чему радуешься? - спросил Пантелеев. - Чего веселого тут обнаружил?

- Пока ничего, - сказал Ульянов. - Хвастаться нечем, порядка

еще нет, но будет.

- Я здесь час пробуду, - вспомнив о Лопатине и повернувшись к машине, крикнул Пантелеев, - вылезайте, отдохните пока.

Он хотел поговорить с Ульяновым с глазу на глаз.

- Эх, Ульяныч, - сказал он, поднимаясь вместе с Ульяновым на насыпь. Жаль, тебя вчера здесь не было. Так иногда действуем, словно взяли на себя подряд немцам лагеря пополнять.

- А что, много пленных?

- Да, - сказал Пантелеев, - и убитых много, и полета человек вчера в плен отдали. Вот именно, что не они взяли, а мы отдали - Бабуров ваш! Спроси такого: веришь в нашу победу? - он на тебя глаза вытаращит - мол, только отпетая сволочь в победу не верит! А поскреби его - в нем вера отдельно от дел живет.

Сам в победу верит, а своих людей в плен отдает! Что за прок в такой вере? На ней до победы не доедешь!

- Хорошо, что я вас увидел на дороге, - сказал Ульянов, бывший прежде на "ты" с Пантелеевым, но не считавший возможным обращаться к нему по-старому при его теперешней должности. - А то бы разъехались, я как раз собирался в пионерлагерь, а оттуда в роту сходить.

- Ничего, через час уеду, сходишь, - сказал Пантелеев. - Надо весь круг вопросов с тобой обсудить. А то они ведь, немцы-то, не дураки - вчера по незатопленному мосту перелезали, а завтра сядут на шаланды да где-нибудь посередине Стрелки высадятся.

Хоть мы и кричим, что они все по шаблонам воюют, но это пока самоутешение; то одним шаблоном нас стукнут, то другим навернут, то третьим огреют - и все разные! А что мы все до одной лодки из Геническа угнали, так это только по отчетности так красиво выходит, а если без отчетности - там лодок еще хватит. Мост у нас по отчетности тоже взорван, а они по этому мосту вчера пешком перешли. Командира полка видел?

- Он здесь, - сказал Ульянов. - Я его только сейчас с собой сюда прихватил.

- Откуда? - спросил Пантелеев, уже предчувствуя ответ Ульянова.

И Ульянов действительно ответил, что застал командира полка на бывшем КП батальона, то есть именно там, где он еще утром ухитрился отстать от Пантелеева.

- Где он? - тихо и свирепо спросил Пантелеев.

Они поднялись на насыпь и подошли к орудию.

- Найдите командира полка, - приказал Ульянов стоявшему У орудия моряку.

Но командир полка не спешил показаться на глаза Пантелееву.

Действительно ли его не сразу нашли, или он, страшась предстоящего разговора, бессмысленно оттягивал его, но Пантелеев и Ульянов долго стояли у крайнего орудия батареи, а Бабуров все не шел и не шел.

Ульянов попытался заговорить, но Пантелеев не ответил. Он неподвижно стоял, широко расставив ноги, набычившись, глядя прямо перед собой в землю. Он ожидал прихода командира полка, и ничто другое сейчас его не интересовало.

Наконец появился Бабуров - он вынырнул из-за орудия и, рысью подбежав к Пантелееву, суетливо стал объяснять, что утром не выехал вместе с дивизионным комиссаром потому, что в это время его позвали к телефону, а потом, когда он вышел из землянки, машина уже отъехала; он кричал, махал руками, но она не остановилась. Все это было вранье, но Пантелеев слушал, не перебивая. Бабуров кончил говорить, сделал паузу, радуясь, что Пантелеев ни разу не перебил его, и, ободрившись, добавил еще несколько слов в свое оправдание, а Пантелеев по-прежнему молчал, и это затянувшееся молчание постепенно стало таким угрожающим, что даже Ульянов невольно передернул плечами.

- Вы трус, - негромко и медленно, в полной тишине сказал наконец Пантелеев. - Вы больше не командир полка. Я вас отстраняю от должности и отдаю под суд. Командиром полка временно назначаю вас, - повернулся Пантелеев к Ульянову и, кивнув на Бабурова, добавил: - - Позаботьтесь, чтобы его к утру доставили в Симферополь.

Услышав слово "доставили", Бабуров задрожал; задрожал в буквальном смысле этого слова, как человек, которого бьет малярия. Он трясся, и из его трясущихся губ беспорядочно выскакивали неживые и уже никому не нужные слова о том, что он виноват, но что он не трус, что, если надо, он готов... и еще что-то, чего Пантелеев не слушал, а только ждал, когда он кончит.

Пантелеев думал о том, что даже ему, человеку, видавшему всякие виды на всех войнах, начиная с германской, все-таки очень редко - пять-шесть раз за всю жизнь - приходилось сталкиваться с такими патологическими трусами, как этот трясущийся полковник: это же надо представить себе - командир полка, вместо того чтобы сопровождать члена Военного совета на позиции, не садится в машину ц остается. Остается потому, что боится поехать на передовую, остается, понимая, что потом его за это отдадут под суд, остается, не надеясь на пощаду, а просто будучи не в силах превозмочь себя.

"А может, он все-таки на что-то надеялся? - подумал Пантелеев. - На что?" И вдруг спросил вслух:

- Вы что, надеялись, авось меня убьют там, впереди? Меня убьют, другие не узнают о вашем поведении, споете им лазаря, и будут взятки гладки! Так, что ли? Просчитались! Я еще провоюю до конца войны, а вас будут завтра судить, потому что вы трус и вас даже в рядовые бойцы разжаловать нет смысла. Боец - это бой! У бойца честь и совесть есть! Л у вас где они?

И Пантелеев, нисколько не смягчившись оттого, что высказал наконец все накопившееся за день, и даже не считая сказанное жестокостью, прошел мимо Бабурова, не взглянув на него.

Маленький Ульянов, идя вслед за ним, не удержался, снизу вверх мимоходом посмотрел Бабурову в лицо и встретился с ним взглядом. Командир полка стоял, бессильно опустив плечи и почти до колен свесив руки. На лице его было выражение такой тоски, какое бывает у людей только перед смертью. Ульянов подумал, что, если бы Пантелеев сказал все это не Бабурову, а ему, Ульянову, и если бы ему нечего было на это ответить, он бы тут же, на месте, вынул пистолет и застрелился.

- Петр Андрепч, - еле слышно шепотом сказал Бабуров, глядя на Ульянова и удерживая его взглядом. - Петр Андреич, - две слезы выкатились из его глаз и потекли по толстому, заросшему седой щетиной лицу.

Ульянов хотел задержаться возле него, но Бабуров больше ничего ему не сказал, а Пантелеев, не поворачиваясь, уже звал его:

- Полковник Ульянов, где вы?

И Ульянов поспешил вслед за ним, думая о том, что, хотя не поехать вместе с начальством вперед, на позиции своего же собственного полка неслыханная вещь, все-таки ему жаль Бабурова.

Еще третьего дня Бабуров присутствовал в штабе дивизии на совещании у Кудинова и, казалось, ничем не отличался от других командиров полков, а сегодня он уже не командир полка, а завтра его будут судить, а послезавтра, вполне возможно, разжалуют или расстреляют за трусость.

Когда Бабуров остановил взглядом Ульянова и назвал его по имени и отчеству, он, в сущности, ничего не хотел сказать ему.

Если бы Ульянов остановился и спросил, что ему хочет сказать Бабуров, Бабуров не знал бы, что ответить. Ему просто хотелось, чтобы хоть кто-нибудь понял, как все ужасно и нелепо получилось, и пожалел его. Все творившееся сегодня в его душе было совсем другим и непохожим на то, что думал о нем Пантелеев. Он не сел в машину с Пантелеевым и не догнал его потом на Другой машине не потому, что, как о нем думал Пантелеев, он грусил обстрела или боялся идти в атаку, - он не боялся этого, а вернее, даже не думал об этом. Но когда он сначала почувствовал из отрывочных донесений, что за ночь на Арабатской Стрелке у него в полку произошла катастрофа, когда потом Кудинов в ответ на доклад стал кричать по телефону, что если выяснится, что у него погибла рота, то он пойдет под суд, и когда вслед за этим к нему приехал член Военного совета, -

Бабуров все больше и больше терял голову.

Он настроил себя на самое худшее, на то, что рота взята в плен, а морская батарея захвачена, и, представив себе, как ему придется, находясь рядом с членом Военного совета, отвечать за все, что тот увидит, и, еще не сознавая до конца, что делает, взял и не поехал вперед с Пантелеевым.

Весь день оставаясь здесь, он то придумывал разные объяснения, почему он остался, то решался ехать вслед за Пантелеевым, но, понимая, что не сможет объяснить ему, почему не поехал сразу, отказывался от этого намерения.

Весь день он делал вид, что занимается всякими необходимыми для полка делами, но, в сущности, ничего не делал, а только с ужасом ждал возвращения Пантелеева. Он не думал о смерти Пантелеева, но страстно желал, чтобы на обратном пути Пантелеев вдруг проехал мимо и каким-то образом само собой вышло так, чтоб они не встретились хотя бы сегодня.

Бабуров вовсе не был трусом от природы. Во время гражданской войны он участвовал в боях и даже имел почетное оружие, по в тридцать седьмом году его, военного комиссара Керчи, вдруг пришли и арестовали. Это была та самая волна арестов тридцать седьмого года, которая теперь, в дни войны, вольно или невольно всем приходила на память. И хотя, быть может, никто еще но осознавал до конца всей меры происшедшей тогда, в тридцать седьмом году, трагедии, хотя многие внутренне сомневались, считая, что одни арестованы правильно, а другие - по ошибке, но почти каждый, кто над ЭТРШ задумывался, уже чувствовал в душе, что все эти аресты, вместе взятые, правильными быть не могли, потому что это противоречило бы и здравому смыслу, и вере в людей, и, самое главное, вере в Советскую власть, двадцать лет воспитывавшую этих людей.

Когда Бабурова арестовали и потребовали, чтобы он признал соучастие в каком-то заговоре, о котором он не имел представления, он на всю жизнь испугался. Испугался всего, в чем когданибудь и кому-нибудь вздумалось бы его обвинить. Испугался всякой ответственности, которую ему правильно или неправильно могли приписать.

Были люди, которые выдержали и не такое, и, однако, не сломались, и не согнулись, но он не был сильным человеком. И когда после двух лет тюрьмы его выпустили, сказав, что он ни в чем не виноват, то он, еще здоровый на вид мужчина, вышел оттуда больным самой страшной из человеческих болезней - он боялся собственных поступков.

И вдруг теперь, на четвертом, месяце войны, когда ему дали

полк, фашисты, в первом же бою перебив его роту, оказались в Крыму. Оказались именно там, где стоял его полк, его рота и где именно он нес всю полноту ответственности за то, чтобы фашисты не попали в Крым. Он испугался этого так, что уже никакие доводы разума не могли заставить его действовать вопреки страху ответственности.

Сейчас, после того как Пантелеев и Ульянов отошли и где-то невдалеке еще слышались их голоса, Бабуров не думал о будущем, а неудержимо боялся его. Из всего, что говорил Пантелеев, самыми нестрашными были слова, что его, Бабурова, разжалуют в рядовые. Если бы минуту назад Пантелеев сказал ему, что он разжалован в рядовые, и приказал взять винтовку и идти на передовую бойцом, он бы не испугался этого, наоборот, с облегчением почувствовал, что с ним уже сделали все, что могли сделать за его вину, и теперь - будь что будет! Но одна мысль, что завтра его повезут в Симферополь и будут спрашивать, как он допустил, что фашисты ступили на крымскую землю, а потом трибунал удалится на совещание, и он будет сидеть и ждать приговора, - одна эта мысль приводила его в такой ужас, что он боялся не только завтрашнего дня, но сегодняшней ночи, в течение которой ему придется ждать того, что произойдет с ним завтра.

Содрогаясь от озноба, пошатываясь и плохо соображая, куда и зачем он идет, Бабуров медленно сошел с насыпи, прошел мимо машины Пантелеева, на подножке которой сидел и разговаривал с девушкой-шофером худощавый майор в очках, мельком запомнившийся ему утром, прошел мимо откозырявших ему и с удивлением посмотревших на его странное, отчужденное лицо бойцов, прошел еще сто, и двести, и триста шагов по кочковатой песчаной земле Арабатской Стрелки, все еще не зная, что он сделает, чувствуя только одно - что он боится дальше жить. Зайдя за небольшой бугорок, из-за которого уже нельзя было видеть ни стоящих на позиции орудий, ни бойцов, ни машины, он с минуту постоял, вынул из кармана носовой платок, вытер им лицо, снова сунул платок в карман, потом достал из кобуры пистолет, несколько раз глубоко и прерывисто вздохнул и, задержав дыхание, выстрелил себе в грудь, против сердца.

7

На сухой, треснувший где-то в степи пистолетный выстрел никто не обратил особого внимания. Лопатин, который в ожидании Пантелеева сидел на подножке машины и расспрашивал Пашу Горобец о ее жизни, на секунду повернул голову, прислушиваясь, пе выстрелят ли еще, потом поправил очки с одним оставшимся в живых стеклом и по журналистской

привычке сказал:

"Ну, ну", показывая, что он снова весь внимание.

Паша сидела на согревшейся за день земле, прислонившись к стожку сена, и то начинала рассказывать своим быстрым южным говорком, то останавливалась, зажмуривала глаза и ловила лицом тепло прорвавшегося сквозь облака вечернего солнца. Она очень устала за день и радовалась, что еще не пришла пора снова ехать и можно посидеть и погреться на солнышке. Майор, с которым она говорила, чем-то, даже не понять чем, нравился ей, хотя он был и не похожий на военного, и немножко смешной оттого, что одно стекло у него в очках было целое, а другого стекла совсем не было. От этого и глаза у него были разные - один, за стеклом, далекий и строгий, а другой, без стекла, добрый и часто щурившийся.

- Вы бы их совсем сняли, товарищ майор, - сказала Паша.

- Боюсь тогда и второе стекло раздавить, - сказал Лопатин. - Забуду и раздавлю.

- А вы не забывайте, - назидательно сказала Паша.

Жизнь ее, как казалось ей самой, была слишком проста для того, чтобы о ней рассказывать, и она несколько раз порывалась перевести разговор на что-нибудь другое, более интересное, по Лопатин, которого товарищи по редакции с завистью называли клейстером, не обращая внимания на Пашины уловки, продолжал расспрашивать ее, почему же все-таки в прошлом году она не пошла в соляной техникум, куда ее посылали, а поступила на шоферские курсы.

Паше было очень просто ответить на этот вопрос: в техникум она не пошла потому, что надо было уезжать с Сольпрома, а на шоферские курсы она пошла потому, что на них пошел один ее знакомый парень, который ей тогда нравился, но которого теперь не было здесь, потому что его в июне взяли в армию. Но сказать правду Паша стеснялась, а что ответить вместо этого, еще не придумала и молча крутила в пальцах рубчик подола своего голубенького ситцевого платья.

- Хотелось побольше зарабатывать, - наконец сказала она.

Это была неправда, но ничего лучше она не придумала, а молчать дальше считала неудобным.

Лопатин недоверчиво улыбнулся, но промолчал, и Паша поняла, что он ей не поверил, и подумала, что он, наверное, умный человек, хотя и смешной один глаз за стеклом, а другой - просто так.

Она искренне не понимала, что может интересовать этого человека в ее жизни, простой, как ладошка, где все события можно пересчитать по пальцам: окончила семилетку, потом

работала на Сольпроме, сначала на сушке соли, а потом мойщицей на автобазе, потом автокурсы и эта вот, переданная ей с рук на руки ушедшим на фронт шофером, старенькая полуторка.

Во всей ее жизни ей самой действительно интересными казались сейчас только последние три дня, когда она, получив винтовку и сапоги, стала возить по Арабатской Стрелке то одних, то других военных людей и все, что они грузили на ее машину, - то бревна, то термоса, то, как сегодня, ящики с минами. Особенно интересно было ей сегодня, когда она, прицепив к своей полуторке, везла минометы с большими, похожими на столы железными кругами.

Когда, оставив первый миномет там, где ей велели это сделать, - около бойцов, рывших окопы на берегу Сиваша, - она благополучно вернулась, ее удивило, как горячо и долго тряс ей руку отправлявший ее старший лейтенант. А потом, когда она повезла второй миномет, слева и справа от машины стали взлетать черные столбы и один осколок даже звякнул по капоту машины. Но она не испугалась и привезла второй миномет туда же, куда первый, а испугалась только на обратном пути, когда над кабиной пронесся оглушительный свистящий звук - раз, другой, третий, четвертый!

Она пригнулась за рулем и погнала машину, не разбирая дороги, боясь этих свистящих звуков, пролетавших прямо над ней, и не подозревая, что именно эти звуки и были ее спасением, что это наша морская батарея бьет по немецким минометчикам, заставляя их замолчать и тем спасая ее, Пашу Горобец, с ее полуторкой.

Это ей объяснили уже потом, когда она вернулась. И она, стыдясь только что испытанного страха, вызвалась съездить еще раз и отвезти на позиции к минометам ящики с минами. И снова немцы пробовали стрелять, и опять над кабиной ее полуторки, как ангелыхранители, проносились снаряды.

Она охотно и весело рассказывала обо всем этом Лопатину, потому что это было ново и интересно для нее и потому что ее радовало и одновременно удивляло, что эти большие, стоявшие здесь пушки, стреляли своими большими снарядами, которые трудно поднять одному человеку, только для того, чтобы она могла спокойно съездить туда и обратно. Она была горда этим, и в то же время ей было немножко неудобно, словно она напрасно затруднила кого-то.

Когда она вернулась в третий раз, отвезя ящики с минами, восхищенный старший лейтенант порывисто обнял ее и неловко поцеловал в щеку. Она была так далека от сознания важности

сделанного ею, что посчитала этот непрошеный лейтенантский поцелуй мужским баловством, сердито вырвала руку и убежала.

Все происшедшее с ней сегодня было интересно ей самой, но она не понимала, почему об этом расспрашивает сидевший перед нею майор, уже немолодой и, наверное, сам не раз видавший все это.

А Лопатин сидел напротив нее и любовался и ее искренним непониманием собственной храбрости, и ее неподдельным недоверием к тому, что она может кого-то интересовать, наконец, любовался ею самой, ее загорелыми, исцарапанными коленками, на одной из которых она все время потирала пальцем большой синяк; ее худенькой, но ладной фигуркой в голубом пыльном платье, ее разгоревшимся, радостно-усталым лицом.

В другое время, где-нибудь на улице, он, наверное, не обратил бы внимания на это полудетское-полудевичье лицо; но сейчас оно казалось ему прекрасным. Он глядел на девушку, и, как это иногда бывает с людьми, перешагнувшими за середину жизни, его охватывала бессмысленная тоска от всего, что в этой жизни случилось не так, как нужно. Он не мог представить себе ни эту девупшу старше, чем она была, ни себя моложе, чем был, и вообще оба они никак не сочетались друг с другом ни во времени, ни в пространстве. Но горькая и даже завистливая мысль, что перед ним, прислонясь к стожку сена и потирая синяк на коленке, сидит в этом голубеньком пыльном платье не его, а чье-то живое будущее счастье, - эта мысль не выходила у него из головы, как он ни старался ее прогнать.

Пантелеев вместе с полковником Ульяновым подошел к машине через час. Усталая шоферка, неожиданно для себя, среди разговора с Лопатиным задремала, сидя все в той же позе у стожка сена. Велихов накрыл ее своей шинелью и ходил, поеживаясь и потирая руки, озябший, но довольный собственным поступком.

- Послезавтра еще раз приеду сюда, учтите это, - говорил Пантелеев, прощаясь с Ульяновым. - Бабурова доставьте в Симферополь. Что еще? проверяя не столько Ульянова, сколько самого себя, спросил Пантелеев. Как будто все! Ну, бывай здоров, - и, пожимая руку Ульянову, добавил: Раз ты здесь, я за Арабатскую Стрелку спокоен.

- Будьте здоровы, товарищ дивизионный комиссар, - сдвинув каблуки, ответил не любивший лишних слов Ульянов и только глазами добавил несказанное: "Будь уверен, не подведу тебя".

Паша, проснувшись и смутившись оттого, что заснула у всех на глазах, поеживаясь от вечернего холодка, полезла в кабину.

Велихов покрутил заводную ручку, и через минуту грузовик

уже трясся по дороге к переправе.

А еще через полчаса маленькая моторка, таща за собой на буксире рыбачью лодку, в которой сидели Пантелеев, Лопатин и Велихов, плыла через Сиваш.

- Товарищ начальник, если еще раз приедете, я вас буду возить, хорошо? - крикнула с берега Паша Горобец.

Вдали смутно голубело пятнышко ее платья.

- Хорошо! - сложив руки рупором, крикнул Пантелеев. - Будет исполнено!

Лопатин думал, что Пантелеев, ласково простившийся с девушкой и обещавший, что представит ее к медали за храбрость, сейчас заговорит о ней, но Пантелеев молчал. Шоферка уже вышла у него из головы, он был занят другими, тяжелыми мыслями.

В Сиваше мелко рябила и плескалась о борт лодки вода. Сразу свалившаяся осенняя ночь с каждой минутой становилась все черней и черней. Сиваш с обеих сторон слился с берегами, вокруг лодки остались только одни звуки: тихий плеск воды у борта, одышливое фырканье моторки впереди да где-то далеко, на Чонгаре, редкие артиллерийские выстрелы.

- Сам виноват, - тихо сказал Пантелеев. - Сам виноват, - повторил он. На всех позициях был, все до одной облазил, все укрепления смотрел, а на Арабатскую не поехал, на Кудинова понадеялся. А на него надеяться, как на... - он не докончил и еще раз повторил: - Сам виноват.

Лопатин сидел на краю покачивавшейся лодки и думал:

неужели всего пятнадцать часов назад он подошел к зданию штаба армии в Симферополе и увидел Велихова с чемоданчиком в руках и шофера, прикручивавшего баки с бензином? Он вспоминал одно за другим все события дня, и перед ним возникал все тот же, еще утром родившийся вопрос.

"Неужели, - спрашивал он себя, - неужели немцы все-таки ворвутся в Крым?" И хотя кроме раболепного Кудинова и дрожащего Бабурова, кроме попавшего в плен командира батальона и перебитой роты были командиры и бойцы, смело ходившие в атаку, и морской лейтенант, и его артиллеристы, не растерявшиеся и остановившие немцев, и Паша Горобец, возившая под огнем минометы, и уверенный в себе маленький полковник Ульянов, и сам Пантелеев, хотя в сегодняшнем дне было не только много плохого, но и много хорошего, говорившего: "Нет, не ворвутся, не может этого быть!" - предчувствие несчастья сдавливало сердце Лопатина.

Шофер, дожидавшийся Пантелеева на том берегу лимана, был рад их возвращению, как бывают рады все шоферы, чьи

фронтовые пассажиры уходят вперед, в неизвестность. Обрадованный тем, что все живы и целы, он суетливо спрашивал, не замерз ли кто - у него есть в машине одеяло и даже подушка, может быть, кто захочет поспать в дороге.

- Вы лучше-ка вот что, - сказал Пантелеев, - снимите предохранительные сетки с фар.

- Нельзя, товарищ Пантелеев, - решительно сказал шофер. Светомаскировку надо соблюдать, дороги бомбят.

- Пусть лучше бомбят, чем где-нибудь навернуться, - сказал Пантелеев, мне надо через два часа быть на Военном совете, так что придется жать, а с сетками ни черта не видно, угробимся.

- А демаскировка, товарищ Пантелеев?

- Демаскировать нам по дороге, кроме самих себя, некого, - ответил Пантелеев. - Подъедем к Симферополю - наденете сетки. Быстро снимайте, да поехали, - добавил он тоном, показывавшим, что разговоры окончены.

Шофер, сердито шевеля губами и ругаясь про себя, снял предохранительные сетки, сел за руль, и машина помчалась к Симферополю.

Лопатин думал, что Пантелеев, так же как и по пути сюда, захочет поспать, но Пантелеев, промолчав первые пять минут дороги, сам повернулся к нему и спросил:

- О чем думаете?

Лопатин солгал, что ни о чем не думает: он думал о своей жене, по это были сложные и невеселые мысли, и ему не хотелось ими делиться.

- Неужели так-таки ни о чем не думаете? - повторил Пантелеев и, не дожидаясь ответа, сказал: - А я думаю, что чистой коммунистической души у нас еще некоторым людям не хватает.

Живет такой начальник, чистые воротнички каждый день подшивает, сапоги при помощи ординарца до блеска чистит, а чистой коммунистической души не имеет.

Лопатин подумал, что Пантелеев вспомнил про Кудинова, но при шофере не захотел называть фамилию командира дивизии.

- А этого, - имея в виду Бабурова и все еще продолжая размышлять о нем, как о живом, сказал Пантелеев, - этого, которого под суд завтра отдадим, думаете, мне не жалко? Жалко! Потому что, если бы у него загодя дня два над душой просидеть, он бы по-другому оборону подготовил. А коммунистического сознания, чтобы все самому, без погонялки сделать, - у него пе нашлось.

А теперь, конечно, под суд! А этих бедных, почыо побитых, поколотых в страхе и ужасе, - их знаете как жалко, - в голосе Пантелеева, как показалось Лопатину, что-то даже дрогнуло при

этих словах. - Двадцать первого года рождения рота, в голодный год их матери высохшей грудью кормили - для того ли, чтобы первый фашист пришел и всех, как кур... О том ли мечтали...

Пантелеев шмыгнул носом и вытер глаза.

- Растили, кормили, учили, говорили: растите, детки, до коммунизма доживете, а потом взяли и отдали первому попавшемуся фашисту на смерть, без боя, за просто так! Куда это годится! - крикнул он, и в машине надолго воцарилась тишина.

- Слабо воевали и под Сальково, и сегодня, - после долгого молчания, во время которого машина бесшумно неслась по дороге, сказал Пантелеев.

Лопатин робко возразил, что все-таки сегодня все было не такуж плохо... Но Пантелеев не дал ему договорить.

- Что ж, это дело, что ли, чтобы дивизионные комиссары роты в атаки водили? Еще бы я роту в атаку не сводил! Этого недостапало! - Он невесело усмехнулся. - Четвертый месяц войны пошел, нам немца приказано перед Крымом остановить не пальцем на карте, а пулей в лоб! На Западном же остановили! И держат. А мы что тут? Опять собираемся всю шарманку сначала крутить? Кто нам это позволит? Где наша совесть? Как так? Почему?..

В двухстах метрах впереди на дороге взлетело что-то огромное и желтое, взлетело так неожиданно, что только в следующую долю секунды, услышав оглушительный взрыв, Лопатин понял, что это бомба.

- Фары! - крикнул Пантелеев и. опередив растерявшегося шофера, сам выключил свет.

- Вылезайте из машины, переждем, - сказал он громко, но спокойно, первым открывая дверцу и вылезая. - Ложись... Ложись пониже, в кювет.

Хотя Пантелеев и вылез из машины первым, но оставался около нее, ожидая, пока остальные лягут в кювет. Наконец, убедившись, что все легли, он тоже прилег на краю асфальта, подложив руку под голову и вглядываясь в небо.

Второй и третий взрывы коротко вспыхнули слева за дорогой, в поле. Четвертый, и последний, ударил так близко, что Лопатин не услыхал взрыва ему вдруг туго набили голову ватой и, казалось, продолжают с силой заталкивать ее туда. Он несколько мипут ошеломленно пролежал, ожидая, что будет дальше, но дальше ничего пе было - ни новых взрывов, ни гудения самолетов, ни голосов.

И вдруг среди этой тишины Лопатин услышал плач. Рядом, совсем близко от него, плакал человек, плакал, всхлипывая и произнося какие-то слова, которые Лопатин не сразу понял. Он

поднялся из кювета, сделал два шага и при слабом свете оставшегося непотушенным красного заднего стоп-фонарика увидел что-то темное, без головы и одного плеча, и нагнувшегося над этим темным и страшным навзрыд плакавшего Велихова.

8

Член Военного совета Особой Крымской армии, дивизионный комиссар Пантелеев был убит наповал большим осколком бомбы на восемьдесят втором километре Симферопольского шоссе. "Юнкерсы", возвращавшиеся после налета на Симферополь и сбросившие на обратном пути несколько десятков мелких бомб по всему шоссе от Симферополя до Джанкоя, не нанесли больше никаких потерь ни в людях, ни в технике. Ехавшие в одной машине с членом Военного совета его шофер, адъютант и корреспондент "Красной звезды" не получили ни одной царапины. Целой осталась и машина. На ней завернутое в две шинели изуродованное тело дивизионного комиссара привезли в Симферополь, прямо к штабу армии, за пять минут до заседания Военного совета, к началу которого он не хотел опоздать.

Корреспонденту "Красной звезды", как старшему по званию, приказали лично доложить обстоятельства гибели дивизионного комиссара, но он рассказал об этом таким деревянным голосом, что даже суховатый по натуре и всего неделю знавший Пантелеева, но потрясенный случившимся командующий с неприязнью к корреспонденту выслушал этот, показавшийся ему бездушным, рассказ. Потом корреспондент попросил разрешения уйти, сказав, что его в двадцать четыре часа вызовет на провод редакция.

Командующий отпустил его сердитым кивком и стал расспрашивать о подробностях то и дело заливавшегося слезами адъютанта покойного младшего политрука Велихова.

В это время Лопатин, все еще в каком-то столбняке, добрался до редакции городской газеты, где не успели узнать о происшедшем и поэтому, слава богу, ни о чем не расспрашивали, и, сев за машинку в пустом машинном бюро, упрямо ударяя по незнакомым клавишам и попадая не в те буквы, начал выстукивать очерк в газету, стараясь не думать о смерти Пантелеева, но после каждого через силу напечатанного слова неотвратимо возвращаясь к ней.

Минутами ему казалось, что этого просто не было. Но это было, и он знал, что это было, потому что он сам, сначала сидя на корточках на шоссе, вместе с шофером и Велиховым заворачивал в шинели то мертвое и страшное, что пять минут назад было сидевшим вместе с ними в машине дивизионным комиссаром Пантелеевым, а потом, втащив это в машину и уложив на

сиденье, передвигал по полу машины еще теплые ноги в солдатских сапогах. А потом он ехал снова, все в той же самой машине, и хотя знал, что Пантелеев убит и что можно дотронуться рукой до его накрытых двумя шинелями останков, но в то же время ему казалось, что другой, живой Пантелеев сидит впереди рядом с шофером и сейчас повернется и договорит что-то самое главное, чего он не успел договорить, когда впереди разорвалась первая бомба.

9

Угольщик, отправленный третьего октября из Севастополя в Одессу с подкреплением - двумя ротами морской пехоты, шедший следом за ним транспорт с боеприпасами и сопровождавший их морской охотник почти до самой темноты бомбили немцы. Транспорт повредили, и он сел на мель у Тендеровой косы, а угольщик и морской охотник пошли дальше.

Стемнело, но и после этого на корабле еще два раза поднималась тревога. Сигнальщику померещился перископ; потом по борту прошла плавучая мина. Начало этой, неожиданной для Лопатина, командировки в Одессу невольно заставляло думать об обратном пути: добравшись туда, предстояло добираться еще и оттуда. Само предстоящее пребывание в осажденной Одессе тревожило меньше:

худо ли, хорошо - но там все время будешь с людьми, а одиночество острей всего ощущаешь в дороге, и больше всего невеселых мыслей лезет в голову в такие ночи, как эта, когда от тебя самого ничего не зависит.

Передав в Москву корреспонденцию о бое на Арабатской Стрелке со многими умолчаниями, в том числе и о гибели Пантелеева, Лопатин ожидал, что раз начались бои в Крыму, то теперь его там и оставят.

Но не тут-то было!.. Редактор прислал телеграмму, что корреспонденция помещена, но газете нужен материал на другую тему - о боях за Одессу, куда Лопатин и должен отбыть немедля.

Немедля отбыть в Одессу он не мог - должен был до этого получить заказанные в аптеке очки: стекло для старых вместо разбитого и еще одни запасные. Оставшись в очках с одним стеклом, он дал себе слово: впредь не трогаться с места без запасных очков. Сообщать редактору по военному проводу, что ты должен сидеть еще двое суток в Симферополе, пока тебе не сделают очки, было неловко: как почти все люди, обходящиеся без очков, редактор не до конца понимал, что они такое для близорукого.

Но и получив очки, отбыть в Одессу оказалось не так-то просто:

пришлось трое суток проторчать в Севастополе, прежде чем сесть на этот угольщик.

В телеграмме редактора было написано: "Сделав две-три корреспонденции о боях Одессе возвращайтесь прежнее место" - надо полагать, имелся в виду Крым, а не Москва. Что дальше - неизвестно, да и рано об этом думать. Но мысль о возвращении в Москву - близком или далеком - все-таки оставалась. Прямых личных причин стремиться в Москву не было: дочь со школой была эвакуирована под Горький еще в июле, а жена с театром, где она работала завлитом, отбыла в августе в Казань; все это произошло без него, пока он был на Западном фронте. То, что жена оказалась в эвакуации в одном месте, а дочь - в другом, ему очень не нравилось, и он за те несколько дней, что пробыл в Москве между приездом с Западного фронта и отъездом в Крым, так и написал жене. Написал только об этом, хотя ему не нравилось и многое другое...

Теперь в Москве его не могло ждать ничего, кроме писем, но письма, наверное, были, и хотелось бы их прочесть.

Днем, перед отплытием в Одессу, на корабль принесли пачку газет и среди них - тот последний дошедший до Севастополя номер "Красной звезды", где была напечатана корреспонденция Лопатина. Она была и так не длинная, а теперь на газетной полосе от нее остались рожки да ножки. Исчезли не только слова Арабатская Стрелка - к этому Лопатин был готов, - но и само описание - и узкой песчаной косы, и моря по сторонам, и города на том берегу пролива, откуда били из пулеметов немцы.

Значит, даже намеков на то, что бои идут в Крыму, пока не пропускают, оставлять своих корреспондентов без дела редактор не любит - вот ты и плывешь на угольщике в Одессу!

Обычно даже невеселые мысли не вышибали Лопатина из привычной колеи; но на этот раз он почти всю ночь прокрутился на койке и заснул только под утро, когда подходили к Одессе.

В Политотделе армии Лопатину посоветовали ехать прямо в дивизию генерала Ефимова, штаб которой размещался в пятнадцати километрах к западу от Одессы, в селе Далышк.

Машины, чтоб доехать, не дали - не имели, но обнадежили, что, выбравшись из города на ведущее к Далышку шоссе, он легко подсядет на попутный грузовик. Но сколько Лопатин ни орал на ветру в кабины пролетавших мимо грузовиков: "Далышк! Дальпик!" - водители только мотали головами - то ли не хотели останавливаться, то ли, и правда, ехали не туда.

В Дальннк он добрался лишь к середине дня, пешком.

Генерал Ефимов только что приехал откуда-то, снова куда-то уезжал и разговаривал с Лопатиным, стоя возле своей полуторки,

в которую его шофер переливал бензин из другой машины. Ефимов был в гимнастерке с неаккуратно, прямо на ворот, пришитыми зелеными звездами и в защитной, без генеральского околыша, выгоревшей фура5кке. Это был высокий, начинавший грузнеть сорокапятилетний человек с круглым скуластым азиатским лицом и рыжеватыми висячими усами. Левая рука была у него на перевязи, в правой он держал хлыст и нетерпеливо постукивал им по пыльным сапогам.

- К сожалению, не могу с вамп говорить, - сказал он, когда Лопатин представился.

Лопатин упрямо повторил, что ему все же нужно поговорить с генералом, что у него задание "Красной звезды" написать о боях под Одессой, для того он и приехал сюда, в их дивизию.

- Понимаю, - сказал Ефимов, - но для пользы дела должен отбыть.

- А когда вы вернетесь?

- Не знаю. Начальство вызывает, ему известно, а мне нет.

Поезжайте пока в полк к Мурадову и Левашову, там завтра и встретимся.

- А когда?

- Не могу знать, - насмешливо сказал генерал. - Могу обещать одно если до завтра не удерете, встретимся.

- Почему удеру?

- Был тут один корреспондент, - генерал окинул взглядом невидную фигуру Лопатина. - Имел более грозный вид, чем вы, но удрал по причине стрельбы. Прежде чем ехать к Мурадову, зайдите к комиссару дивизии. Нечаев! крикнул он стоявшему поблизости бойцу. - Проводите интенданта второго ранга.

Честь имею. - Приложил руку к фуражке, сел в полуторку и уехал.

Полковой комиссар Бастрюков, в противоположность генералу Ефимову, никуда не торопился и начал с того, что напоил Лопатина чаем с молоком и свежими булками. Узнав, что генерал направил Лопатина в полк к Мурадову и Левашову, полковой комиссар почему-то поморщился, но не возразил, а лишь посетовал, что, к сожалению, не сможет поехать туда с Лопатиным сам, потому что в Дальник через час должно прийти пополнение.

- Может быть, хотите поприсутствовать при том, как мы будем встречать пополнение? - спросил он.

Но Лопатин, не выразив желания присутствовать при том, как полковой комиссар будет встречать пополнение, сказал, что, если ему покажут дорогу, он прямо отправится в полк.

Полковой комиссар снова непонятно поморщился, приказал

по телефону, чтобы подготовили машину, и еще на полчаса задержал Лопатина, прочтя ему целую лекцию о том, как важно умело принять пополнение.

Рассказывая, он смотрел на Лопатина такими глазами, словно тот сейчас же должен вынуть блокнот и карандаш, записать все услышанное и послать в газету.

Лопатина стало клонить ко сну, и он обрадовался, когда в дверях появился шофер и доложил, что машина готова.

- Поедете на моей машине и, когда будете возвращаться из полка, позвоните - я пришлю ее за вами, - сказал на прощание полковой комиссар, энергично пожимая руку Лопатину. - А я, как бы ни был занят, еще раз выберу для вас время и поподробней познакомлю вас с системой приема пополнения. У меня подготовлены даже письменные обобщения, эта тема заслуживает... - Отпустив руку Лопатина, он поднял палец, и, хотя не сказал, чего заслуживает эта тема, стало и без слов понятно, что эта тема заслуживает освещения в "Красной звезде", в качестве представителя которой Лопатин пил здесь чай с молоком и отправлялся на передовую не с попутным грузовиком, а на личной машине полкового комиссара.

Лопатину вдруг ужасно захотелось отказаться от помощи этого обходительного человека, но что-нибудь менять было поздно; оставалось поблагодарить.

Полковой комиссар протестующе поднял руку. Лицо у него было энергичное, свежее и сытое, а рука - белая, без загара, с коротко подстриженными ногтями.

- О чем говорить! Я политработник, - сказал он, - я-то понимаю, что такое печать. Поезжайте!

"Эмка" полкового комиссара была на диво чистая и снаружи и внутри; в ногах - свежие половички, а сиденья в белых парусиновых чехлах. Как только машина выехала из Далыгака, лицо шофера приобрело хмурое выражение. Он ехал, всем своим видом давая понять, что недоволен поездкой, и то и дело опускал стекло и, избочась, выглядывал наружу. Лопатин подумал было, что шофер боится авиации, но оказалось, небо тревожило его совсем по другой причине.

- К ночи дождь пойдет, - сказал шофер, выглянув в пятый или шестой раз. - Тут как дождь, так грязь с машины хоть ногтями отколупывай! А полковой комиссар чистоту требует, как в больнице... Намучаешься...

Лопатин посмотрел на свои пыльные сапоги, потом на след, который оставили эти сапоги на свежем чехле. Шофер тоже покосился, но ничего не сказал.

Ехать до Дальника было всего пять километров, но шофер

трижды спрашивал дорогу у встречных бойцов.

Красный Переселенец, где стоял штаб полка, оказался небольшим хутором, спрятавшимся в лощине между двух невысоких холмов. Среди фруктовых садов белело десятка три мазанок. Некоторые были разбиты прямыми попаданиями. Вдали за холмами негусто постреливали.

- Доехали... Здесь и Мурадов, и Левашов, все тут, в этом доме... сказал шофер, останавливая машину около трехоконной белой халупы с уходившим в окно пучком телефонных проводов. - Доехали до места, как приказано, - настойчиво повторил он, не выключая мотора, словно боясь, что Лопатин не слезет.

Лопатин поблагодарил, подхватил вещевой мешок и через полутемные сени шагнул в комнату.

За столом, на котором с одной стороны стоял телефон, а с другой сковорода с недоеденной яичницей, сидел человек и плакал. Он сидел, опустив на стол голову в пыльной мятой фуражке, и широкие плечи его часто и сильно вздрагивали.

Лопатин стоял посредине комнаты и не знал, что делать.

- Ну чего? - подняв голову, спросил человек, сидевший за столом. Лицо у него было заплаканное, а глаза злые. - Чего пришли? Кто такой?

- Мне надо полковника Мурадова, - сказал Лопатин, продолжая стоять посреди хаты.

- Нету Мурадова, - сказал человек, сидевший за столом, и вытер лицо рукавом гимнастерки. - Вот сидим оплакиваем его.

В госпитале теперь, в Одессе, ищите его, если жив... А это, - с вызовом ткнул он пальцем на стоявший в углу брезентовый ящик с ремнями, забирайте к чертовой матери! Мурадов бы не отдал, а мне теперь все равно... Берите, пользуйтесь, трофейщики!..

Вы откуда, я вас спрашиваю? - сердито спросил человек и встал.

Объяснения Лопатина не смягчили его.

- Час от часу не легче! - воскликнул он, когда Лопатин назвал себя и сказал, что направлен сюда из дивизии к командиру полка Мурадову или комиссару полка Левашову. - Теперь только и радости, что в газетах про нас писать! Командир полка Мурадов ранен и вывезен, а батальонный комиссар Левашов буду я. Еще вопросы есть?

Он вздохнул, снял с себя фуражку и, бросив ее на стол, взъерошил обеими руками свалявшиеся, как войлок, волосы.

Наверное, ему было лет тридцать, но сейчас он казался старше.

Его красивое лицо заросло густой русой щетиной и выглядело помятым. Голубые светлые глаза, обведенные темными

полукружиями бессонницы, глубоко запали. На йогах у батальонного комиссара были брезентовые сапоги - один с надорванным голенищем.

- Садитесь, чего стоите? - сказал наконец Левашов, стиснув руками голову так, словно хотел унять головную боль.

Он был в таком очевидном горе, когда на человека глупо обижаться. Лопатин сел на рассохшийся скрипучий стул, бросил на пол вещевой мешок и стал ждать, что будет дальше.

Левашов, выйдя из-за стола, походил по хате, с сомнением поглядел на разорванное голенище и, заложив руки за спину и расставив ноги, остановился напротив Лопатина.

- Поехали бы еще к кому-нибудь, а? Ей-богу, не до вас, - в голосе его была грубая искренность.

Лопатин сказал в ответ, что готов не обременять своим присутствием комиссара полка и пойти прямо в батальоны, ко вообще-то командир дивизии рекомендовал ему побыть у пего в полку и даже назначил ему здесь на завтра свидание.

- Рекомендовал, рекомендовал... - передразнил Левашов, - а пока вы сюда ехали, из полка душу вынули. Вам почему комдив рекомендовал - потому, что это полк Мурадова, а Мурадова нету больше в полку. - И Левашов пожал плечами, словно сам удивляясь непоправимому смыслу сказанного. - А я даже в госпиталь поехать, узнать судьбы его не могу, пока нового командира полка не назначат. Вот, пожалуйста, - повернулся он к столу и показал на сковороду с яичницей, - только сели вдвоем, как люди хотели пообедать, а на передовой занервничали, стали по телефону заикаться. Поднялись с ним, поехали посмотреть, что там за такие особенные румынские атаки? И вот сиди теперь один, доедай...

- Как же все это случилось? - спросил Лопатин.

- Обычно, как все случается. На обратном пути - мина под ноги, два осколка в живот. И: "Прощай, Федя, оставляю полк на тебя..."

Левашов подошел к окну, снял с подоконника миску с красными солеными помидорами и брякнул ее на стол рядом с недоеденной яичницей.

- Давайте перекусим, жизнь должна брать свое. И поедем в батальоны, если не передумали. Мне туда тоже надо.

Лопатин не стал отказываться, подсел к столу и взялся за холодную яичницу и помидоры. Ему хотелось есть. Левашов тоже потыкал вилкой в яичницу, но, как видно, слова, что жизнь должна брать свое, были сказаны им преждевременно. Он бросил вилку и откинулся на спинку стула.

- Ешьте, на меня не глядите, - сказал он.

Стекла в хате звякнули и задрожали. Взрыв был не сильный, но близкий. Лопатин вздрогнул от неожиданности. Левашов мельком взглянул на него и, придвинув телефон, стал крутить ручку.

Мины все время рвались недалеко за хатой. Лопатин продолжал есть, а Левашов, прикрыв ухо, чтобы не мешали взрывы, стал говорить кому-то, что сейчас приедет.

Потом его, кажется, спросили по телефону о Мурадове.

- Кто ж его знает, я не врач, - ответил Левашов. - Знаю одно: железо большое, раны - смотреть страшно.

Стекла звякнули особенно сильно. Левашов во второй раз скользнул взглядом по Лопатину. Лопатин продолжал есть.

- Сейчас едем, - Левашов положил трубку. - Траур во всем полку! Я бы вам много чего рассказал про Мурадова, если б только вы могли это описать.

- А почему вы думаете, что я не могу? - спросил Лопатин.

- А потому, что этого никто не может, - махнул рукой Левашов. - Я сам старый рабкор, даже судился из-за одной заметки...

Но сейчас другое дело. Иногда выберу время, кое-чего занесу в дневник, а потом прочту - все чепуха. Нету сил выразить все, что в душе творится. А так что же писать: сколько уничтожили, сколько потеряли - это и в газетах прочесть можно!

Он повернулся боком к окну и прислушался к тишине.

- Поедем. На чем добирались?

- Комиссар дивизии дал свою машину, - сказал Лопатин.

- Не путались?

- Нет, но дорогу спрашивали, - ответил Лопатин.

- И то слава богу, - сказал Левашов. - Вторую неделю на Красном Переселенце сидим, а товарища Бастрюкова у себя только раз видели.

Он встал, взял со стола свою пыльную фуражку и, несколько раз ударив ею о колено, надел на голову.

- Поедем на моем танке.

Лопатин удивленно взглянул на него, но лицо Левашова было совершенно серьезно.

- А мешок оставьте, ночевать сюда вернемся, раз Ефимова дожидаться будете. Вот душа-мужик, верно? - спросил Левашов уже в дверях.

Лопатин неопределенно промычал. У него осталось другое впечатление о командире дивизии, но встреча их была слишком мимолетной, чтобы спорить.

- Интересно, кого он вместо Мурадова командиром полка пришлет, боюсь, что он Ковтуна мне пришлет, - нисколько не

беспокоясь ответом собеседника на свой предыдущий вопрос, вслух рассуждал Левашов, идя рядом с Лопатиным по хуторскому порядку. - Мужик грамотный, но только уж больно бухгалтер. Вот увидишь, - вдруг на "ты", очевидно считая, что они уже достаточно знакомы для этого, обратился он к Лопатину, - его и пришлют, чтобы Левашов не хулиганил.

Сказав о себе в третьем лице, он усмехнулся и, остановясь у одной из хат, заглянул в окно.

- Поздняков, я по батальонам поеду, начну со Слепова.

Они с Лопатиным зашли за угол хаты, где под камышовым навесом стоял маленький транспортер "Комсомолец", открытый со всех сторон, если не считать тоненького бронированного щитка впереди.

- А вот и мой танк, - без улыбки сказал Левашов, забираясь на место водителя.

- Давай сюда, рядом, - обратился он к Лопатину и, едва тот сел, нажал на стартер.

10

Капитан Ковтун, тот самый, которого Левашов боялся получить в командиры полка, вышел подышать воздухом из штабной мазанки.

Большое и до войны богатое южное село Дальник, где стоял штаб дивизии, было разбито бомбежками и дальнобойной артиллерией. Днем оно имело вид убогий и печальный, как всякое полуразрушенное село, оставленное жителями и на скорую руку заселенное солдатами. Но сейчас, в лунную ночь, тот же самый Дальник казался капитану Ковтуну даже красивым: сохранившиеся синие с белым домики выглядели чистенькими и новыми, а густые купы деревьев серебрились от лунного света. Было так тихо, что Ковтун слышал от слова до слова негромкий разговор, который вели между собой напротив, на крылечке штабной столовой, шофер комиссара дивизии Коровкин и подавальщица Таня.

- А вот скажите, - мечтательно спрашивала Таня, - почему, например, звезды бывают то белые-белые, то совсем голубые?

Коровкин затянулся папироской - было видно, как она вспыхнула в темноте, - и, помолчав, ответил лениво и многозначительно:

- Отдаленность...

Таня поражение замолчала и, наверное, там, в темноте прижалась к Коровкину.

- В девяносто пятом полку сегодня был, - снова донесся до Ковтуна ленивый голос Коровкина. - Корреспондента возил. Сапогами весь чехол замарал. Опять полковой комиссар

придираться будет. Ты бы постирала, что ли...

- Ладно, - покорно отозвалась Таня.

В угловом окне комиссарского дома виднелась тонкая, как лезвие ножа, полоска света. "Наверное, сидит, перекореживает чьинибудь политдонесения так, что их и родная мать не узнает", - подумал Ковтун. За три месяца службы в должности начальника оперативного отделения штаба дивизии он незаметно для себя привык смотреть на вещи глазами командира дивизии генерала Ефимова. А генерал-майор Ефимов не одобрял бумажные страсти полкового комиссара Бастрюкова.

До войны капитан запаса Ковтун, экономист по образованию, был главным бухгалтером большого винодельческого совхоза под Тирасполем и сам питал пристрастие к подробно, по всем правилам составленным канцелярским бумагам.

Но война и генерал Ефимов отучили Ковтуна от любви к длинным фразам и вводным предложениям. Обветренный и обстрелянный, он почти каждый день мотался вместе с Ефимовым на передовую и обратно, ходил с ним по полкам и батальонам, положив на колено планшет, писал под диктовку Ефимова короткие приказания и с удивлением вспоминал собственное прошлое.

Ковтун был под стать генералу - немолод, но выносliв. Так же, как генерал, он начал военную службу солдатом в последний год империалистической войны, потом воевал до конца гражданской, и то, что они в молодости были люди одной судьбы, играло свою роль в их отношениях.

Во всяком случае, в первые же дни боев, временно заменив пришедшим из запаса капитаном Ковтуном убитого начальника оперативного отделения, Ефимов потом ни разу не проявил желания перевести Ковтуна на другую должность.

- Ковтун, ты здесь, а я тебя по телефону отыскиваю!

От соседнего дома, где жил командир дивизии, отделилась тонкая высокая фигура.

- Иди, садись, - ответил Ковтун и подвинулся на крылечке.

Адъютант комдива лейтенант Яхлаков подошел, сел и, сняв фуражку, положил ее себе на колени. Он был горьковчанин и говорил, заметно нажимая на "о". Его прямые, длинные, нарочно под молодого Горького отпущенные волосы, валившиеся на лоб, как только он снимал фуражку, были светло-соломенного цвета и сейчас, под луной, казались седыми.

- Жалко, зеркала нет, - сказал Ковтун. - Мне сейчас показалось, что ты седой, ей-богу.

- Поседеешь! Комдив звонил с дороги, я ему доложил, что Мурадов тяжело ранен, а он меня знаешь как обложил!

- За что?

- Что я ему в Одессу, в штаб армии, не сообщил. А я звонил, но его с Военного совета не вызвали. Я объясняю, а он орет: "Ты не адъютант, а шляпа! Если бы дозвонился, я б из штаба заехал в госпиталь, а теперь возвращаться поздно".

- Жалко Мурадова, - сказал Ковтун, помолчав.

- Я думал, чего пооригинальней скажешь, - отозвался Яхлаков. - А то все жаль да жаль. Позавчера тебе Халифмана было жаль, вчера Колесова, сегодня Мурадова. Меня тебе тоже жаль будет, если убьют?

- Трепач ты, - вместо ответа сказал Ковтун.

- Трепач или не трепач, а вот предсказываю, что комдив тебя вместо Мурадова назначит. Велел тебе спать не ложиться - как приедет, явиться к нему. Спрашивается - зачем?

- Ну и трепач, - равнодушно повторил Ковтун. - Мало ли зачем...

- А вот посмотрим, - сказал Яхлаков.

- Брось трепаться, - отрезал Ковтун.

- Ну, а кого? - спросил Яхлаков.

Но Ковтун не был склонен обсуждать этот вопрос.

- Левашов, когда про Мурадова звонил, сильно переживал.

Говорит по телефону, а сам плачет.

- Левашов? - недоверчиво переспросил Ковтун.

Он попытался представить себе плачущим батальонного комиссара Левашова, но не смог.

- Завтра в девяносто пятом операция намечалась, - сказал Яхлаков, которому наскучило молчание.

- Ну и проведут...

- А с кем? - Яхлакову хотелось вернуться к прежней теме, но Ковтуна было не так-то просто сдвинуть с места.

- Кого назначат, с тем и проведут. Комдив из-за этого операцию отменять не будет.

- Мне Таня говорила, - сказал Яхлаков, - что позавчера, когда нас тут обстреляли, полковой комиссар себе ужин прямо в блиндаж потребовал.

- Ну и что?

- Что "ну и что"? Накрыла ужин салфеткой да и понесла ему через улицу, а он в блиндаже салфетку поднял и глядит, не залетел ли ему в простоквашу осколок.

- Врешь ты все, - сказал Ковтун, считавший неположенным вслух осуждать даже то начальство, которое ему было не по душе.

- Кажется, едет... - прислушиваясь, сказал Яхлаков. - Просил комдива, чтоб взял с собой в Одессу. Отказал: "В штабных передних штаны протирать и без тебя протиральщиков хватит.

Лучше, говорит, расширь свой кругозор, книжку почитай..." Я ему говорю: "Ничего, я после войны почитаю". "Ну и дурак", - говорит.

- Ну и правильно, - охотно согласился любивший чтение Ковтун.

- Точно, едет! - сказал Яхлаков и пошел навстречу.

Полуторка, громыхая на колдобинах, вынырнула из-за угла и остановилась. Ефимов вылез из кабины и прошел в дом.

- Где Ковтун? - спросил он Яхлакова, вешая на гвоздь фуражку. Предупредил?

- Вызван, товарищ генерал.

- А как с Мурадовым? Не догадались до госпиталя дозвониться, пока я ехал?

- Никак нет, - ответил Яхлаков. Лицо его стало растерянным.

- Эх вы! Через пятнадцать минут позовите ко мне капитана Ковтуна.

Когда Ковтуы вошел в хату командира дивизии, Ефимов говорил по телефону с госпиталем. Он сердился. Его круглая, бритая голова с прижатой к уху телефонной трубкой была еще багровей, чем обычно. Он сидел, навалившись грудью на стол и низко опустив голову, но, когда Ковтуп вошел, сразу заметил его.

Сердитые раскосые глаза Ефимова уперлись в Ковтуна и сделали ему знак "садитесь!", а сам Ефимов продолжал ругаться по телефону.

- Я, командир дивизии, - говорил он в трубку, - не добился у вашего начальника госпиталя сведений о своем командире полка. Он, видите ли, не знает! А ему положено знать! Если бы полковник Му радов командовал здесь, в Одессе, своим полком, как вага начальник госпиталем, весь ваш госпиталь давно плавал бы в Черном море!

- А меня его характер, - перебил Ефимов, очевидно, пробовавшего возразить ему собеседника и еще больше побагровел, - меня его характер нимало не интересует. Вы комиссар госпиталя - и будьте любезны навести у себя в госпитале партийный порядок, независимо от того, какой характер у вашего начальника, хоть трижды собачий... Принесли? - вдруг совершенно другим голосом сказал он. - Ну, слушаю... - Он надел пенсне, придвинул блокнот и взял карандаш. - Подождите, записываю. Благодарю.

Если у вас все - - у меня все. Доброго здоровья...

Ефимов отодвинул телефон, поднял голову и грузно потянулся на стуле. Ковтуп приподнялся.

- Сидите, капитан Ковтун, - сказал Ефимов. - Подвиньтесь поближе.

Ковтун пододвинулся.

- Начальник госпиталя не пожелал дать справку о Мурадове, - сказал Ефимов. - Заявил, что не помнит, поступал ли к нему таковой, а ведь это командир полка, - Ефимов поднял палец и задержал его в воздухе, - фигура огромного значения. Прежде чем попасть в госпиталь, он три войны прошел, нормальное училище, академию. Сколько усилий было затрачено, чтобы создать такого командира полка, как Мурадов, а он не знает, прибыл ли Мурадов к нему в госпиталь или нет и в каком состоянии. Бросаемся людьми, сами себя не уважаем! Позор! Спасибо, хоть комиссар госпиталя - человек, а не клистирная трубка!.. Вот что он мне дал о Мурадове.

Ефимов пододвинул Ковтуну листок, на котором делал записи, говоря по телефону. На листке было написано: Мурадов - состояние на 23 часа: температура - 39,8, пульс 150, осколки извлечены, сделано переливание крови, находится без сознания.

- Невеселая картина, капитан Ковтун, - сказал Ефимов, - опять придвигая листок к себе.

Жизнь и смерть еще боролись друг с другом на этом лежавшем перед Ефимовым листе бумаги, а за столом, напротив Ефинова, сидел капитан Ковтун, которого, независимо от того, выживет или умрет Мурадов, придется назначить на его место.

Вот сидит перед ним Ковтун, которого он за эти три месяца узнал как облупленного, со всеми его сильными и слабыми сторонами. Сидит короткий, плотный, с большой, не по росту, квадратной головой, которая кажется еще квадратней от стрижки под бокс. Черт его знает, отец четверых детей, а стрижется, как футболист! Вид глупый, а сказать неудобно, человек в годах, не Яхлаков - в замечаниях по поводу внешности не нуждается. Под черной, без единого седого волоска футбольной челкой лоб у Ковтуна низкий, широкий, с тремя резкими морщинами, и лицо загорелое, грубое и решительное, а в глазах - ну никакой догадки, зачем его вызвал командир дивизии! И то, что в глазах у Ковтуна нет этой догадки, нравится Ефимову.

В послужном списке Ковтуна значится, что на всех сборах командиров запаса на протяжении пятнадцати лет он имел по всем дисциплинам высшие отметки, а он не из тех, кому такие вещи даются с налету. Старательным показал себя и на войне,, В самостоятельных решениях осторожен, но придется решать - решит! А придется умирать - не побежит. Правда, нормального училища не кончал и по званию всего капитан.

"Да что я сам себя уговариваю, - рассердившись, подумал Ефимов, - уже решил ведь назначить". И вдруг понял, почему, уже решив, все еще уговаривает себя: если бы назначал Ковтуна после другого командира полка, не уговаривал бы, но после Мурадова

все кажется, что Ковтуну и того недостает и этого...

- Капитан Ковтун!

Ковтун подобрался, напрягся, все три морщины на лбу его полезли вверх, под самую чэлку.

- Дадим вам полк. С полком справитесь?

- Справлюсь, товарищ генерал, - неожиданно для Ефимова, без раздумий, отрезал Ковтун и встал.

- Правильно, - сказал Ефимов. - Штабной командир, который не мечтает принять полк, не командир, а баба.

Ковтун совсем не мечтал принять полк. Наоборот, он был поражен случившимся, но бабой себя не считал и, раз уж так вышло, отказываться не собирался. Он стоял перед Ефимовым помрачневший от волнения.

- Отправляйтесь принимать полк, теперь же, ночью, - Ефимов, обойдя стол, подошел к Ковтуну вплотную. - Возьмите мою полуторку. Пока доедете, я позвоню в полк, а утром получим добро сверху и отдадим вас приказом.

- Благодарю за доверие, - сказал Ковтун.

У него сидел в голове, но не шел на язык вопрос: как же сам Ефимов, разве не поедет сейчас с ним в полк? А если не поедет сейчас, то, по крайней мере, прибудет ли к началу той завтрашней операции, которая была разработана еще вместе с Мурадовым? Ковтуну казалось, что Ефимов сам скажет об этом, но Ефимов молчал, и Ковтун понял: сейчас комдив протянет ему руку, простится и станет уже поздно спрашивать о чем бы то ни было.

- Товарищ генерал, - наконец решившись, спросил он, - а вы когда будете в полку?

- Л что, разве я вам уже нужен? - Ефимов насмешливо нажал на слово "уже". - Позвоните мне завтра в девять часов и доложите, как идут дела. Не теряйте времени, езжайте! Левашову я позвоню.

И он, пожав руку, отпустил Ковтуна, вполне сознательно не желая придавать в его глазах излишнего значения завтрашней рядовой операции.

11

Оставшись один, Ефимов взялся было за телефон, но передумал, подошел к койке, разобрал ее и, тяжело опустившись, стал стягивать сапоги. Раздевшись и по-солдатски положив на сапоги портянки, он в одном белье прошел по холодному земляному полу к висевшему на стене осколку зеркала и погладил отросшую на бритой голове рыжую щетину.

- Надо парикмахера вызвать, - вслух сказал он в тишине, устало погладил большой волосатой рукой лицо, вернулся к койке и забрался под одеяло.

Глядя в лицо новому командиру полка, Ефимов невольно подумал о себе. И сейчас, лежа на койке, продолжал думать о себе.

В комнате было натоплено и душно, окна были наглухо завешаны мешками, под свернутым из газеты желтым, подпаленным абажуром вяло жужжали осенние мухи. Весь день был набит трудными новостями, тяжелое ранение Мурадова оказалось последней.

Все новости требовали решений, и за каждое предстояло отвечать головой. А голова была одна!

Приехав сегодня днем в Одессу, Ефимов узнал, что командующий Приморской группой войск заболел и ночью на эсминце вывезен в Крым. Потом член Военного совета, запершись вдвоем с Ефимовым в кабинете, сказал, что он снесся со штабом Черноморского флота, в оперативном подчинении у которого находилась Приморская группа, и что есть согласованное предложение внести на утверждение Ставки кандидатуру его, Ефимова, как нового командующего.

- Как ваше мнение? - спросил у Ефимова член Военного совета.

Что ответить? С тех пор как немцы отрезали Крым и заняли побережье до Мариуполя, Ефимову, человеку военному и чуждому риторике, было ясно, что рано или поздно вопрос об Одессе станет так - или снабжать ее из Новороссийска, под все нарастающими ударами немецкой авиации, жертвуя при этом корабль за кораблем, или эвакуироваться в Крым, пока позволяют время и наличные силы. Он был склонен думать, что Ставка в ближайшее время пойдет на это, - трудная мысль для человека, которому предлагают принять армию. Стать командующим, имея на носу эвакуацию морем, - незавидная перспектива, но как раз это и не позволило Ефимову колебаться. Как бы тяжко ни сложилось дело, в душе он верил, что сделает его пе хуже других.

- Слушаюсь, - сказал он, избегая многословия.

- А скажите, Иван Петрович, - спросил член Военного совета, - когда мы получим подтверждение Ставки, - он хотел сказать "если мы получим подтверждение Ставки", но слово "если" показалось ему неловким, - кому предполагаете сдать дивизию?

- Мурадову, - сразу, не думая, ответил Ефимов.

Это было всего два часа назад, а теперь Ковтун поехал принимать мурадовский полк.

Дотянувшись до висевших на стуле бриджей, Ефимов вытащил пристегнутые английской булавкой часы и щелкнул крышкой.

Судя по времени, Ковтун подъезжал к полку. Ефимов встал с

койки и, покрутив ручку аппарата, вызвал девяносто пятый полк. Телефонист сказал, что комиссар полка спит.

- Разбудите.

Левашова будили несколько минут. Ефимов сидел за столом, положив усталую голову на руку с зажатой в ней телефонном трубкой, закрыв глаза и чувствуя, что его самого начинает клонить ко сну.

- Крепко спишь, Левашов, - сказал он, услышав наконец в трубке сонное: "Слушаю".

- Слушаю, товарищ генерал, - уже звонко, стряхнув дремоту, повторил в трубку Левашов.

- Послал капитана Ковтуна принять полк.

- Так я и знал... - вырвалось у Левашова.

- Что ты знал?

- Что вы Ковтуна нам пришлете.

- Тем лучше, раз ты все заранее знаешь... - усмехнулся Ефимов. - Прошу любить и жаловать и поддержать авторитет нового командира полка перед комбатами, имея в виду, что среди них могут быть недовольные.

- Есть поддержать авторитет перед комбатами.

- Слушай, Левашов, - бросая официальный тон, сказал Ефимов, - я тебя знаю, знаю, какой ты можешь быть хороший, и знаю твои коленца! Так вот, будь добр, чтобы капитану Ковтуну у вас, в мурадовском полку, с первого шага ногу не жало! Ты понял меня или нет?

- Понял, товарищ генерал.

- Сделаешь?

- Будет сделано.

- А насчет Мурадова, - Ефимов пододвинул к себе давешнюю бумагу с записями, - слушай сведения на двадцать три часа. - И он прочел по телефону то, что было им записано со слов комиссара госпиталя. - У меня все. Вопросы есть?

- Есть два вопроса, товарищ генерал. Могу ли я съездить Мурадова навестить?

- Командира полка встретите, вместе с ним операцию проведете, дотемна доживете и можете съездить.

- Есть, - повеселевшим голосом откликнулся Левашов. - И второй вопрос: тут вас корреспондент дожидается.

- Какой еще корреспондент? - спросил Ефимов.

- Что у вас утром был. Вы, говорит, ему у нас в полку свидание назначили.

- А... - сказал Ефимов. - Еще не смылся?

- Нет, у меня...

- Ладно, завтра увижусь. Хочешь узнать, когда приеду?

В этом была соль вопроса?

- Так точно, в этом, - признался Левашов.

- Приеду, когда потребует обстановка. Желаю успеха.

Ефимов положил трубку, прошлепал босыми ногами до койки, лег, накрылся одеялом и почему-то, без всякой связи со всем происшедшим за день, вспомнил о Средней Азии и о том, как в двадцать третьем году в Фергане дехкане из отряда самообороны принесли ему голову старого басмача курбаши Закир-хана. Насаженная на пику, бритая, коричневая, поросшая седой щетиной голова лежала на желтом, дышавшем жаром песке, а древко у пики было корявое, неструганое, с сучками.

"И откуда только придет на память такая ересь? И почему именно сегодня?" - засыпая, подумал Ефимов.

12

Не торопясь, но и не мешкая, Ковтун побрился, собрал свой единственный чемодан, положил его в кузов ефимовской полуторки, сам сел рядом с шофером и приказал ехать в штаб девяносто пятого. Полуторка была причудой Ефимова, он всегда ездил только на ней, и ее знали все бойцы в дивизии. Сбиться с дороги с ефимовским шофером было немыслимо, и Ковтун, едва машина тронулась, стал думать о предстоящей операции.

Две недели назад дивизия, поддержанная тремя артиллерийскими полками, предприняла удачное наступление и отбросила румын на несколько километров. Было взято полсотни орудий и до тысячи пленных, в том числе немецкие артиллеристы. Горячие головы, и среди них - Левашов, мечтали наступать дальше, но вместо этого был получен приказ закрепляться. Да никакого другого приказа и нельзя было ждать при общей обстановке, сложившейся на Южном фронте. Немцы продвинулись на пятьсот километров восточней Одессы она держалась, приковывая к себе двухсоттысячную румынскую армию, - и слава богу! Большего от нее нельзя было и требовать.

В сводках Информбюро появилось сообщение о разгроме под Одессой двух румынских дивизий, а через три дня оправившиеся румыны начали жестокие контратаки. Фронт дивизии местами подался назад и принял зигзагообразную форму. Последнюю неделю Ефимов методично, один за другим, срезал эти румынские "языки", или, как он выражался, "подстригал их в свою пользу".

Завтрашняя операция, лежавшая теперь на плечах Ковтуна, должна была покончить еще с одним таким "языком".

В темноте забелели первые домики Красного Переселенца.

Ковтун вылез у знакомой мурадовской хаты, взял чемодан и, махнув шоферу, чтобы тот ехал обратно, открыл дверь.

Левашов встретил Ковтуна на пороге.

- Ефимов звонил про тебя, - сказал он вместо приветствия. - Садись, подхарчимся, а то потом, черта лысого, поешь с этими... - он отпустил ругательство по адресу румын и немцев и первым сел к столу.

На столе стояла бутылка с виноградной водкой, миска с солеными помидорами, кусок брынзы и полкаравая хлеба.

- А где начальник штаба? - спросил Ковтун, тоже садясь. - Надо бы на НП поехать.

- Туда и поехал, - сказал Левашов. - Сейчас машина за нами вернется.

Он налил по полстакана водки себе и Ковтуну и чокнулся.

- Будем знакомы - батальонный комиссар Левашов, Федор Васильевич, комиссар ныне вверенного вам девяносто пятого стрелкового полка. Прошу любить, жаловать и не обижаться.

Он залпом, не дожидаясь Ковтуна, выпил водку и закусил соленым помидором. Они были уже три месяца знакомы с Ковтуыом, но своими словами он хотел подчеркнуть, что теперь они одной веревочкой связаны.

Ковтун равнодушно, как воду, выпил свои полстакана, тоже закусил помидором и стал говорить о предстоящей операции. Но Левашов не хотел сейчас говорить о ней.

- Операция как операция. Сами же вы ее в штабе утверждали, чего я тебе добавлю? Вот пойдем на НП, а оттуда в роты - там добавлю, про всех проинформирую - кто чего стоит. А сейчас дай полчаса отдохнуть, ей-богу, устал, как... - и он снова выругался.

Ковтун, как и все в штабе дивизии, знал, что за Левашовым водятся грехи - горяч, иногда выпивает, а уж матерщинничает сверх всякой меры. Говорили, что Бастрюков порывался снять его за это с полка и, наверное бы, снял, если б не воспротивился Ефимов, по убеждению которого Левашов, несмотря на все свои коленца, был прирожденный политработник.

- Эх, не комиссаром бы мне быть, - как-то сказал Ефимову Левашов после боя, во время которого он трижды водил бойцов в атаки.

- А кем?

- Прошусь, товарищ генерал, в начальники разведки дивизии. У меня натура рыбацкая - из разведки без улова не вернусь.

Уж получше вашего Дятлова буду, ручаюсь! Возьмите, не раскаетесь!

Но Ефимов не взял, и комиссар девяносто пятого полка Левашов сидел сейчас перед Ковтуном и жевал соленые помидоры, закусывая их хлебом.

- Проголодался? - спросил Ковтун.

- Поверишь, двое суток не мог есть, - сказал Левашов. - Третьего дня ходил в атаку, поскользнулся и упал в старый румынский окоп на разложившиеся трупы. И так от трупного запаха спасу нет, по кукурузе валяются, куда ни ступишь. Мясо целый месяц не ем, только одно соленое могу, - а тут, как назло, провалился! Давай еще по половине?

Ковтуну не понравилось это предложение. Конечно, можно было на первый случай не спорить, но он предпочел сразу поставить себя с Левашовым в ясные отношения.

- Не буду. И тебе перед трудным днем не советую, - твердо сказал он, хотя и знал, что Левашов пьет не пьянея.

Левашов пожал плечами.

- Виноградная. Мурадов ее уважал, - он щелкнул пальцем по бутылке и, отставив стакан, сказал: - Не могу пережить, что уже не с Мурадовым воевать буду. Не обижаешься?

- Чего ж обижаться? - как можно равнодушнее пожал плечами Ковтун, хотя оборот разговора был ему неприятен.

- Собачья служба комиссарская, - сказал Левашов. - Чтоб в госпиталь съездить, всего два часа и нужно. Да где там, разве можно!

- А ты попросись завтра, после боя.

- Уже попросился у Ефимова.

- Разрешил?

- Разрешил. Смерть не люблю, когда мне отказывают. Просто больной делаюсь.

В углу хаты кто-то всхрапнул.

- Кто это? - спросил Ковтун, заглядывая через стол.

В углу, на койке, с головой накрытый шинелью спал какой-то человек. Левашов, прежде чем ответить, поднялся и подошел к спящему.

- Спит, как суслик, - сказал он, вернувшись. - Навязался на мою голову. Только Мурадова вывез, через пять минут этот явился. Корреспондент! Из Крыма прибыл. Говорит, что фашисты уже на Арабатскую Стрелку лазили. Правда, выбили их на первый случай... У меня жена в Керчи, - без паузы добавил Левашов.

- То-то Крым тебя и беспокоит.

- А что ж ты думаешь, - сказал Левашов. - В апреле женился, в июне на войну ушел - веселого мало. Я ж не на два месяца рассчитывал, когда женился. Как вспомню, так дрожу.

- Дрожишь, чтоб не увели? - тяжеловесно пошутил Ковтун.

- Оставь прибаутки для девок, если на старости лет жена надоела, сердито сказал Левашов. - А я женился не на шутку и шутить про это не желаю.

- Прошу прощенья.

- Крым - и немцы... В голове не укладывается! - Левашов дотянулся до бутылки с водкой, налил себе немножко, на самое дно стакана, и поглядел в глаза Ковтуну.

- Будь здоров, командир полка! Как к политработе относишься?

- Положительно.

- Я серьезно спрашиваю. А то, может, как наш Бастрюков, считаешь, что политработа это дважды два - четыре? Если так смотришь на политработу, не споемся - предупреждаю.

- Воина не спевка, прикажут - споемся, - сказал Ковтуп,

- Эх, командир полка, командир полка, - сказал Левашов. - Есть у нас такие дубы, стоят и думают, что вся их служба - повторять сто раз на дню, что дважды два - четыре. Это, конечно, нетрудно, а вот научить человека, чтобы он, как и ты сам, если потребуется, пошел и сознательно умер за родину, - это трудно, это пе для дубов задача, а для политработников. Если по совести, когда я в дивизионную разведку у Ефимова просился, - это у меня слабина была. Устал от политработы и попросился. А Ефимов, хитрый черт, сразу понял. И если хочешь знать, так из них двоих уж если кто политработник, так Ефимов, а не Бастрюков. По воздействию на самого себя сужу. Согласен или нет?

- Значит, по-твоему, Ефимова в комиссары, а Бастрюкова в комдивы тогда лучше будет?

- Ну вот, - разочарованно протянул Левашов. Он огорчался, когда его не понимали. - Разве я об этом?

За окном затарахтела машина.

- "Газик" вернулся, - сказал Левашов. - Хотя по штату пе положено, но Мурадов хозяйственный мужик был, чего не дадут, сам возьмет. Вот забрал на батарее у немцев радиоприемник, - показал Левашов на тот самый ящик в брезентовом мешке, на который показывал днем Лопатину, - забрал и трофейщикам пе отдал, погнал в шею. Ответь мне, Ковтун, почему у нас так делается? Вот мы с тобой - командир и комиссар полка, а приемник этот нам слушать не положено. Нам его положено сдать. А Мурадов обиделся и не сдал.

- Раз положено - надо сдать, - сказал Ковтун.

- Ладно, сдадим, черт с ним, - Левашов махнул рукой. - Ну а все-таки, почему? Или кто-нибудь думает, что мы с тобой перед фашистами руки не поднимем, а перед их радио поднимем? Зачем такая обида?

- А если я тебя спрошу - зачем? - огрызнулся Ковтуи, разозлившись оттого, что, несмотря на свою любовь к порядку, сам по совести не мог ответить на этот вопрос.

- Не знаю.

- Ну и я не знаю.

Левашов подошел к столу, завернул в газету остатки брынзы и сунул сверток в карман.

- У Слепова будем в батальоне - наголодаемся. Ему одно известно война, а покормить ни себя, ни людей не умеет.

Ковтун тоже встал и подошел к койке, на которой спал корреспондент.

- Тише, - сказал Левашов. - Разбудишь - за нами увяжется.

Он нахлобучил на голову фуражку, поискал глазами шинель и только сейчас вспомнил, что сам же накрыл ею заснувшего корреспондента. Подойдя к койке, он постоял в нерешительности - ночь была холодная, ехать без шинели мерзнуть до утра - и, махнув рукой, вышел вслед за Ковтуном.

13

Когда Лопатин проснулся, в хате никого не было; взглянув на часы, он понял, что проспал начало операции. Было без четверти десять. Стояла тишина, лишь иногда чуть слышно постреливали.

Вскочив и скинув с себя шинель Левашова, спросонок даже не поглядев на нее, он стал поспешно натягивать сапоги.

В хату зашел дежурный красноармеец с кринкой молока и полбуханкой пеклеванного хлеба.

- Спасибо, - сказал Лопатин. - Только сначала, где у вас тут можно умыться?

Красноармеец замялся.

- С водой плоховато, товарищ майор, Беляевка-то у немцев...

Лопатин не знал, что такое Беляевка, о которой говорил красноармеец, но вспомнил слышанные еще в Крыму разговоры о том, что в Одессе не хватает воды, и смутился.

- Ладно, - сказал он, - нет так нет.

Вынув из полевой сумки грязное полотенце, он вылил на него остатки тройного одеколона, вытер лицо и руки и, на ощупь причесав волосы, сел за стол.

- Беда с водой, - проговорил красноармеец, одобрительно наблюдая, как проголодавшийся Лопатин уминает хлеб. - А что делать, воды нету и нету. Вечером бочку на передовую везем, так за ней фрицы охотятся - из пушек бьют, как по танку. На пункте сбора раненых бочонок с молдаванским вином стоит, легкораненым по пол-литра на душу наливают вместо воды. Комиссар дивизии приезжал, ругался, говорит: непорядок, а наш комиссар говорит ему: разрешите доложить, человек не конь, ему это не противопоказано.

- А где комиссар? - спросил Лопатин, вставая. По-прежнему слышались только редкие далекие выстрелы, и он подумал - уж не отменено ли наступление?

- Еще ночью уехали, - сказая красноармеец. - Вместе с новым командиром полка, к Слепову в батальон.

- Штаб полка у вас, по-моему, хаты через три отсюда?

- Да, только навряд ли там кто есть, кроме оперативного.

Все вперед ушли. Проводить вас?

- Да, пожалуйста, - сказал Лопатин и надел свою помятую шинель, лежавшую в изголовье. - А это чья? - спросил он, увидев вторую.

- Комиссара. Видно, вас накрыл, а потом будить не хотел.

На улице было пасмурно, накрапывал дождь. Оперативный дежурный подтвердил, что все еще ночью уехали в батальон к Слепову, там же рядом и наблюдательный пункт полка.

- А что, наступление отменилось? Почему тишина? - спросил Лопатин.

- Почему отменилось? - обиженно сказал дежурный. - Два орудия взяли, шесть минометов, пленных девяносто человек, немецкого лейтенанта-артиллериста в штаб дивизии отправили - все как по нотам.

- Отчего же так тихо? - спросил Лопатин.

- Сам удивляюсь, - ответил дежурный. - Обычно, если у них чего возьмешь, до самого вечера изо всех видов оружия стреляют, себя утешают, а сегодня тихо.

- А далеко до ЫП полка? И вообще, сколько отсюда до передовой? спросил Лопатин. - Я вчера ездил с комиссаром, но в темноте не сориентировался.

- Напрямую - два километра, - сказал дежурный, - до НП - пять. Он на фланге, - и, вызвав связного, спросил у него, ходил ли тот во второй батальон.

- Ходил, - равнодушно ответил красноармеец.

- Не заблудитесь?

- Чего ж заблуждаться. Ходил.

Лопатин простился с дежурным, и красноармеец, вскинув на плечо винтовку, горбясь под моросившим мелким дождем, пошел рядом с Лопатиным по улице.

Проходя мимо хаты, где он ночевал, Лопатин вспомнил о шинели Левашова, которую тот оставил из-за него и теперь, наверное, мокнет в одной гимнастерке. Он зашел в хату, взял левашовскую шинель и пошел дальше. Невдалеке за хутором дорога начала подниматься в гору, с обеих сторон потянулась неубранная кукуруза. Несмотря на дождь, в воздухе стоял томительный смрад,

- Не хоронят, что ли? - спросил Лопатин у связного.

Связной только махнул рукой, словно одним этим жестом можно было ответить на любой вопрос. Они поднялись на горку,

теперь с нее было видно все поле. Оно было черное, истоптанное так, словно по нему ходил скот, и по всему этому большому грязному полю, с торчавшими из грязи пожелтелыми стеблями кукурузы, далеко, сколько было видно глазу, лежали трупы.

Лопатин сделал несколько шагов в сторону от дороги.

- Стойте! Не уходите! - закричал связной.

- Почему? - спросил Лопатин.

- Это минное поле, - сказал связной. - Когда на румын наступали, они побежали со второй на третью линию и на своем же поле подорвались. Тут мы у дороги полосу прибрали, а дальше не разминировано; двое барахолили взорвались.

Лопатин остановился и несколько секунд продолжал стоять неподвижно. Трупы лежали повсюду. Наверное, тут разом погиб целый батальон, несколько сот человек.

- Товарищ майор, - сказал связной, видя, что Лопатин попрежнему стоит в стороне от дороги. - Не ровен час... идите лучше обратно след в след, как туда зашли.

Лопатин послушался и, повернувшись, след в след ступая в черные, наполнявшиеся водой вмятины, вышел обратно на дорогу.

Они прошли еще сотню шагов, когда сзади заржала лошадь и послышалось шлепанье колес по грязи. С ними поравнялась бричка, запряженная малорослой лошадкой. На переднем сиденье, крепко схватившись за вожжи, ехала девушка в ловко затянутой шинели и ладных, по ноге, сапогах. Поравнявшись с Лопатиным и связным, девушка придержала лошадь.

- Подвезти, товарищ майор?

- Смотря куда едете, - сказал Лопатин.

Девушка ответила, что едет на медпункт второго батальона.

- А далеко оттуда до НП полка?

- Метров семьсот, - опередив девушку, поспешно ответил связной. Он надеялся, что майор решит подъехать на бричке, а его отпустит обратно.

- Хорошо, я подъеду, - сказал Лопатин. - А вы идите. Благодарю вас, он махнул рукой связному и, поставив ногу на поломанную железную подножку, стал влезать в бричку.

- Только осторожней, - сказала девушка, - не ушибитесь.

Там пулеметы лежат.

Действительно, из наваленной на дно брички соломы торчали стволы двух ручных пулеметов. Лопатин подвинул пулеметы, сел, девушка хлестнула лошадь вожжами, и бричка покатила по дороге.

- Вы военфельдшер? - спросил Лопатин, заметив санитарную сумку, лежавшую на сиденье рядом с девушкой.

- Так точно, - не поворачиваясь, сказала девушка.

- А как вас зовут? - Лопатин не привык обращаться к женщинам по их военным званиям.

- Зовут Тая, Таисья.

- А почему вы пулеметы везете?

- В Одессу за медикаментами ездила, а комиссар полка приказал оттуда, из Январских мастерских, два пулемета прихватить - они на ремонте были.

Девушка по-прежнему не оборачивалась. Она была красива, знала это и, наверно, привыкла к тому, что с нею старались заговаривать. Лопатин замолчал.

- А вы из штаба дивизии? - спросила девушка, первая прерывая молчание и на этот раз обернувшись.

- Нет, - сказал Лопатин.

- Из армии?

- Нет.

- Откуда?

- Из Москвы.

- Из Москвы? - Девушка с любопытством посмотрела на него. - Давно?

- Больше месяца.

- Говорят, Москву сильно разбомбили?

- Врут.

- А вы были там во время бомбежки?

- Был.

- Жутко, наверное, да? - спросила девушка.

- Страшно там, где нас нет, - сказал Лопатин.

- А может, и верно, - сказала она. - Я сначала из медсанбата в батальон до того не хотела идти, плакала, а сейчас привыкла.

- А на фронт добровольно пошли?

- Нет, мобилизовали.

- А если б не мобилизовали, пошли бы?

- Не знаю.

Дорога повернула, и бричка стала приближаться к посадкам акации.

- А скажите... - начал Лопатин.

И тут же навсегда забыл, что хотел спросить у девушки.

Над головой просвистел снаряд и разорвался далеко на поле позади брички. Девушка, соскочив на землю и накрутив на кулак вожжи у самой конской морды, удерживала испуганную лошадь.

Лопатин еще сидел в бричке.

- Вылезайте, чего же вы! - крикнула ему девушка.

Он вылез, зацепился за сломанную подножку и упал в грязь.

Шинель Левашова была у него в руках. Над головами снова

просвистело; девушка, бросив вожжи, легла на землю. Лошадь метнулась и понеслась. Лицо Лопатина было рядом с сапогами девушки.

Третий снаряд разорвался на дороге, лошадь опрокинулась на спину и заметалась, дрыгая ногами.

- Ой! - вскрикнула девушка.

- Вы не ранены? - спросил Лопатин.

Девушка ничего не ответила, только мотнула головой и всхлипнула Ей было страшно, и она жалела лошадь. Разорвался еще один снаряд, и Лопатин зажмурил глаза. Прошла минута, разрывов больше не было. Лопатин почувствовал толчок в плечо. Девушка, приподнявшись на локте, тихонько толкала его в плечо сапогом.

- А я думала - вы убиты, - сказала она, когда он поднял голову. Извините.

Лопатин поднялся, и они, озираясь так, словно могли заранее увидеть летящий снаряд, подошли к опрокинутой бричке. Лошадь, у которой была оторвана нога и распорот живот, лежала на дороге, слабо и жалостно подрагивая ногами, культей оторванной - толе в Лопатин достал из кобуры наган, обошел лошадь и выстрелил ей в голову.

Девушка вздрогнув от выстрела, поглядела на затихшую лошадь, вздохнула, подняла с дороги санитарную сумку, отерла ее полой шинели и стала озабоченно шарить внутри.

- Не побился, - обрадованно сказала она, вынимая из сумки пузырек и встряхивая его.- А я боялась - побился.

- А что это? - спросил Лопатин.

- Мыльный спирт. В Одессе, в аптеке достала. Для волос, а то никак не промоешь.

- Пошли, - сказал Лопатин.

- Давайте пулеметы возьмем, - сказала девушка.

Он забыл, а она помнила.

Вывалившиеся из брички пулеметы лежали тут же, среди разбросанного на дороге сена.

Девушка взвалила себе на плечо один. Лопатин взялся за другой, но ему мешала левашовская шинель.

- А вы наденьте на себя вторую шинель,- посоветовала девушка.

Лопатин натянул левашовскую шинель поверх своей, поднял и взвалил на плечо пулемет.

До посадок оставалось метров двести открытого места.

- По нашему батальону бьют,- сказала девушка, посмотрев в ту сторону.

У Лопатина знакомо засосало под ложечкой - дымы разрывов

поднимались там, где через считанные минуты предстояло очутиться им обоим.

14

Перед тем как по всему фронту загремела немецкая артиллерия, Ковтун и Левашов сидели в посадках у наблюдательного пункта и, свесив ноги в окоп, завтракали чем бог послал: черствым хлебом, вареными яйцами и взятой с собой брынзой. Большего у командира второго батальона Слепова бог и не мог послать.

Командир и комиссар полка были довольны друг другом и первым, вместе проведенным боем. Бой сложился удачно, румынский "язык" был отрезан за час с небольшим и почти без потерь. Левашов сам ходил в атаку и испытывал теперь счастливую усталость.

Осмотрительный Ковтун сразу же после боя приказал артиллеристам подготовить данные для заградительного огня перед новой линией переднего края и послал начальника штаба к соседям, в морской полк, лично проверить стык с ними. Лишь после этого он сел завтракать; но зато теперь ел в свое удовольствие, с хрустом круша горбушку.

- Чудное дело - атака, - говорил Левашов, тыча яйцо в соль, горкой насыпанную на газету. - Всего ничего и пробежишь, а топаешь обратно - в ногах чугун, словно кругом света шел. У тебя так бывает?

- Я в атаки с гражданской не ходил, - честно признался Ковтун.

- Что-то сейчас Мурадов делает?.. - Левашов дожевал яйцо и стряхнул скорлупу с колен. - Жив или нет, как ты думаешь?

- Жив, - уверенно сказал Ковтун, не потому, что был уверен в этом, а потому, что сегодня вообще хорошо шли дела. - Не всем же умирать. Будут и такие, что войну и начали и кончат.

- В этом году навряд ли их разобьем, - сказал Левашов. - Даже если прямо с завтрашнего дня начать обратно на них наступать, как они на нас, и то клади три месяца до границы.

Ковтун, ничего не ответив, показал на лежавшую рядом с Левашовым флягу.

- Осталась вода?

- Есть немного.

Ковтун отвинтил пробку, сделал три мелких глотка и снова завинтил ее.

- Мурадов так говорил, - сказал Левашов, возвращаясь в мыслях к бывшему командиру полка. - Насчет воды у нас в Одессе - только станковые пулеметы досыта пьют!

- Забыл свою флягу, - виновато сказал Ковтун.

- Нашел о чем беспокоиться!

- А я не беспокоюсь, - сказал Ковтун. - Я беспокоюсь - почему тихо?

- Вот тебе и тихо, - оживленно и даже весело воскликнул Левашов, когда над их головами провизжал первый снаряд.

Но прошло еще несколько минут, и веселое настроение, с которым Левашов встретил свист первых снарядов, исчезло. К артиллерии прибавились минометы, огонь все разрастался, появились первые убитые и раненые.

- Погоди, не слышу! - кричал в трубку телефонист, беспомощно оглядываясь на Ковтуна.

Ковтун взял трубку сам, но снаряды продолжали рваться без перерыва. В короткую паузу он услышал голос Ефимова, спрашивавшего, надежно ли закрепились на отбитых у румын позициях и как дела в правофланговом батальоне, по которому артиллерия молотит с особенной силой.

- Вижу это отсюда! - кричал в трубку Ефимов. Очевидно, он был уже не в штабе дивизии, а у соседей.

- Сейчас сам пойду туда! - крикнул Ковтун, но ответа не услышал, связь прервалась.

- Подожди! - перекрикивая разрывы, тряхнул его за плечо Левашов. Ничего там не сделается, в третьем батальоне! Там Мальцев, мужик надежный.

- Надежный или ненадежный, а раз сказал комдиву, что иду, надо идти, сказал Ковтун и, нахлобучив фуражку, пошел по окопу.

Ковтун ушел. Прошло пятнадцать, двадцать, тридцать минут, а огонь все продолжался. За желтыми пригорками переднего края с полной нагрузкой работало несколько десятков орудий и минометов.

"Откуда-то поднатащили", - подумал Левашов и, по вновь заработавшему телефону соединившись со Слеповым, спросил, готов ли тот к контратаке румын.

- Мы всегда готовы, - густым, спокойным басом сказал Слепов. - Комдив по телефону командира полка ищет. Он не у вас?

- Пошел в третий батальон, - сказал Левашов.

- У меня все, - сказал Слепов. - Да, товарищ комиссар!

- Что? - спросил Левашов, собиравшийся положить трубку.

- Корреспондент к вам пошел от меня со связным. Не дошел еще?

- На кой он мне черт здесь? Не мог задержать у себя, пока обстрел?

- Он сослался, что вы приказали, чтоб он к вам шел.

- Ерунда, - сказал Левашов.

- А я поверил, - сказал Слепов. - У меня все.

- Ну, все так все, - сердито сказал Левашов и положил трубку. - Нате, здрасьте, - повернулся он к Лопатину, мешком свалившемуся в окоп. - Вас тут не хватало!

У измазанного в грязи и одетого в две шинели Лопатина был довольно нелепый вид.

- Не знаю, как и величать вас, - рассмеялся Левашов, глядя на два шинельных воротника с разными петлицами. И, только сказав это, понял, что надетая сверху шинель была его собственная.

- Вот принес вам, - сказал Лопатин, стаскивая ее.

- Только за этим и лезли? - Левашов принял из рук Лопатина шинель и положил ее рядом с собой в окопе. - Садитесь пониже, а то пилотку продырявит! Садись, садись, - вновь, как вчера, переходя на "ты", нажал он на плечо Лопатина. - Пришел посмотреть, чем дышим? До самых главных людей сейчас все равно не доберешься, - он кивнул на стоявшую впереди стену дыма. - Главные - на переднем краю лежат. А все остальное, до Владивостока, - подсобное хозяйство. И мы с тобой - тоже.

Он испытывал симпатию к добравшемуся-таки до него Лопатину.

- Румын двух для тебя имею, - сказал он гостеприимно. - Хочешь поговорить?

- А что за румыны?

- Подносчики снарядов с немецкой батареи, что мы утром захватили. Сами руки подняли и разрешения попросили из своих же пушек по другой немецкой батарее вдарить. Сказали, что расположение знают, были на ней.

- Ну и как?

- Весь боекомплект выстрелили! Остальных пленных в дивизию отправил, а этих задержал. Хочу ночью с ними поговорить.

Обижает меня, что мало к нам с оружием в руках переходят.

Где же, думаю, пролетарская солидарность, в которую столько лет верили и которая у меня лично из веры и сейчас еще вся не вышла? Или мы в розовом свете на жизнь смотрели, или положение наше тяжелое, что у людей кишка тонка на нашу сторону перейти, или уж не знаю что! Думаю про это, из головы не выходит. А у тебя?

- У меня? - Лопатину стало стыдно, что он даже наедине с собой все оттирал в сторону этот тяжкий вопрос, о котором батальонный комиссар Левашов не побоялся заговорить вслух.

- Обрадовался я этим двум румынам, - продолжал Левашов, не дождавшись ответа, - ей-богу, больше, чем пушкам!

Пушки что? Железо и железо. Одними брошюрками в нашем деле не проживешь! Надо и на поле боя к политбеседам готовиться: видел факт - и делай из него вывод! Так, по-твоему, или не так?

- По-моему, так, - сказал Лопатин.

- Так-то оно так, - и Левашов прищелкнул языком, адресуясь к кому-то, для кого все это было вовсе не так. - Может, подхарчиться хочешь? Тут яйца остались.

- Если только за компанию.

- Мне до ночи недосуг, - сказал Левашов. - Боюсь, скоро контратака будет.

Он посмотрел вправо, где особенно сильно молотила артиллерия, и поморщился.

- Командир полка туда пошел. Беспокоюсь за него.

- Новый? - спросил Лопатин.

- Новый. Пока ты спал, прибыл. - Левашов схватился за трубку, которую ему протянул телефонист.

- Обратно пошел? - закричал он в трубку. - А зачем отпустил? От тебя же идти - плешь! Я отсюда вижу, как они по ней молотят. - И, не отрываясь от трубки, опять посмотрел вправо. - А ты бы сказал: переждите! Так будете действовать, опять без командира полка останетесь! - Левашов с досадой хлопнул себя по ляжке.

Стоя рядом с ним в окопе, Лопатин смотрел на небо.

Оно было туманное, шел дождь, облака нависали над самой землей. Из них, как большие рыбы, выныривали одиночные "юнкерсы". Очевидно, боясь на такой малой высоте взрывов собственных бомб, летчики, высмотрев цель, снова уходили в облака и оттуда, с уже невидимых самолетов, на землю сыпались бомбы.

- Бывал раньше под бомбежками? - спросил Левашов, посмотрев сначала на небо, потом на Лопатина.

- Бывал, - Лопатин вспомнил Западный фронт - наверное, он бывал под бомбежками чаще Левашова.

- Не боишься?

- Боюсь. А у вас большие потери в полку?

- Не все еще донесли. В третьем батальоне прямое попадание в окоп. Одиннадцать человек как корова языком слизала! - с горечью сказал Левашов и повторил, что его беспокоит командир полка.

- А я здесь, - сказал Ковтун, влезая в окоп.

Шинель его была в земле, у фуражки при падении сломался козырек, на щеке виднелись брызги грязи.

- Прибыл... - Левашов выругался со всей нежностью в голосе, на которую был способен; вытащил из кармана грязный платок и

вытер Ковтуну щеку. - Я уж тут ругал их, что не задержали тебя. Прижало по дороге?

Ковтун кивнул, через силу улыбнулся и посмотрел на незнакомого длинноносого человека в очках и с майорскими шпалами на полевых петлицах.

Левашов сказал, что это корреспондент "Красной звезды" Лопатин.

- Здравствуйте, товарищ Лопатин, - самым обыденным тоном сказал Ковтун. - Извините, как ваше имя и отчество?

- Василий Николаевич.

- Попробуйте вызвать командира дивизии, он у соседей, - повернулся Ковтун к телефонисту и снова вежливо обратился к Лопатину: - Как вам тут у нас нравится, Василий Николаевич?

Лопатину показалось, что командир полка шутит, но Ковтуп и не думал шутить. Он никогда не имел дел а с корреспондентами и задал свой странно прозвучавший в этой обстановке вопрос, просто чтоб что-нибудь сказать. Голова его была занята другим. Он знал, что контратака румын неотвратимо приближается.

- Товарищ капитан, соединяю! - крикнул телефонист, и Ковтун схватился за трубку.

- Докладывает Ковтун. Перед моим фронтом румыны накапливаются на исходных рубежах для атаки.

- Ну и пусть накапливаются, - сказал Ефимов. - У нас тут тоже накапливаются, ждем. Заградительный огонь подготовили?

- Так точно.

- И ждите. Сейчас еще раз-другой зайдут на бомбежку и начнут. Взяли в плен офицера. Показывает, что мы им утром все карты спутали. Хотели атаковать нас в девять, а пришлось перенести на тринадцать. Если снова не перенесли, через десять минут пойдут. Судя по всему, будут прорывать не там, где вы, а тут, где я.

Так что не нервничайте.

- А мы не нервничаем, - ответил Ковтун.

- Положим, не врите, по голосу слышу, - отозвался Ефимов. - Разберусь тут, приду к вам. Желаю успеха. У меня все.

Ковтун положил трубку и потер ладонями лицо.

- Спать хочется, - сказал он. - Комдив говорит...

- Все слышал, - сказал Левашов, во время разговора стоявший рядом, приблизив ухо к трубке.

- Что ж, будем ждать. - Ковтун еще раз потер руками лицо и, зевнув, обратился к Лопатину: - Долго ли у нас в полку пробудете? - Лицо Ковтуна опять стало вежливо-скучающим. От нервного напряжения его все сильнее одолевала зевота.

- Побуду. Мне ваш командир дивизии назначил здесь свидание. Он придет?

- Сказал, что придет. - Ковтун повернулся к Левашову: - Я вчера надеялся, что он весь первый день у нас просидит.

- А что нам, няньки нужны? Вот уж не ожидал от тебя, - разочарованно сказал Левашов.

- А чего ты ожидал от меня? Что я тебе врать буду?

Из тумана вынырнул "юнкере", строча из пулеметов, низко прошел над землей и, круто взяв вверх, исчез в тумане.

- К нам подбирается, - сказал Левашов. - Сейчас вывалит мешок дерьма!

Бомбы были мелкие, но одна из них разорвалась близко, и удар воздуха опрокинул Лопатина на дно окопа. Он приподнялся, сел и, приложив руку к вдруг заболевшему лицу, наткнулся пальцами сначала на кусок стекла от очков, а потом на что-то мягкое и мокрое.

- По-моему, я ранен, - сказал он, боясь отнять руку от лица, чтобы не причинить себе новую боль, и одним правым глазом совсем близко видя побледневшее квадратное лицо Ковтуна.

Ковтун был человек дела.

- Отнимите руку! - спокойно сказал он и, сжав Лопатину запястье, с силой оторвал его руку от лица. - Сидите смирно!

И Лопатин, скосив правый глаз, увидел, как большие пальцы Ковтуна тянутся к его лицу. Ковтун снял с него окровавленные сломанные очки и, держа их в левой руке, еще раз потянулся пальцами к лицу Лопатина и выдернул воткнувшийся в веко осколок стекла.

- Вот тебе и посидел в полку, - горестно из-за спины Ковтуна сказал Левашов.

Теперь, когда Ковтун отпустил руку Лопатина, Лопатин снова зажал ею щеку и глаз. Он сам не знал, для чего это делает, но ему хотелось прикрыть раненое место.

- Ранение касательное, царапина. А глаз цел, от удара болит. - сказал Ковтун. - Фельдшера бы, а?

- Я уже послал, - сказал Левашов.

В окоп торопливо влезла та самая Таисья, с которой Лопатип ехал на бричке. Она велела Лопатину присесть поудобней, и он, скрипнув зубами от боли, почувствовал прикосновение марли и услышал шипение перекиси водорода.

- Ничего, ничего, товарищ майор! Сейчас, сейчас! Минутку, минуточку, говорила девушка, повторяя каждое слово по два раза и ловко и быстро накладывая временную повязку.

После бомбежки над фронтом позисла тягостная тишина.

- Идут! - взвинченным, не своим голосом крикнул Ковтун и

скомандовал в трубку: - Давай огонь!

Над головами с железным шуршанием прошли наши снаряды, и впереди, закрыв дымом наступавшие румынские цепи, легла первая полоса разрывов.

Лопатин поднялся в окопе, силясь, насколько это удастся без очков, хоть что-то увидеть там впереди.

- Белкина! - тоже, как и Ковтун, не своим, изменившимся голосом сказал Левашов. - Проводите майора посадками до моего танка. Пусть до медсанбата довезут, и танк сразу же - обратно!

- Я останусь здесь. - Лопатину не хотелось никуда двигаться из этого окопа.

- А идите вы знаете куда... - беззлобно, но строго сказал Левашов. - Не до вас. Не видите, что ли, - атака! Белкина, выполняйте приказание! Посадите раненого и возвращайтесь. - Он отвернулся, приложил к глазам бинокль и. забыл о существовании Лопатина.

15

Пока Лопатин ехал на левашовском "танке" в медсанбат, румынские атаки шли одна за другой. Сначала Левашов, а потом Ковтун дважды поднимали в контратаку несколько десятков человек - свой полковой резерв. Во время второй контратаки Ковтуна ранило навылет в плечо, и он, из последних сил, на своих ногах, доплелся обратно до наблюдательного пункта, потный и бледный.

Левашов встретил его так, словно был лично виноват в случившемся.

- Давайте сюда Таисыо! - кричал Левашов, усаживая Ковтуна. - Ах, Ковтун, Ковтун, что ж это ты, а?

Ковтун, у которого во время боя слетела фуражка, рукой откидывал со лба намокшую челку и, хватая губами воздух, часто и надрывно дышал. Что ему было ответить? Бой затихал, атаки были отбиты, дело, на которое его послали, сделано. Ему несколько раз за день казалось, что его убьют, и он вспоминал о своей уехавшей в эвакуацию на Кавказ семье, большой и, судя по письмам, плохо устроенной. Вспомнил и сейчас, с облегчением подумав, что всего-навсего ранен.

Он сидел в окопе голый до пояса, и сейчас было видно, что ему уже немало лет - на голове ни одного седого волоса, а грудь вся седая.

Таисья туго бинтовала его - кругом тела, иод мышкой, через плечо и снова кругом тела, но, сколько бы она ни наматывала бинтов, кровь каждый раз густо проступала сквозь них, и, казалось, намотай она целые белые горы, кровь все равно проступит наружу.

Ковтуну показалось, что его не бинтуют, а заворачивают во что-то большое, белое, из-под чего он вот-вот перестанет быть виден. Он закрыл глаза и, поняв, что теряет сознание, собрался с силами и усмехнулся:

- - Хватит бинты изводить.

Он прямо взглянул в красивое, потное от усталости лицо девушки. "Красивая какая", - и бессмысленно пожалел, что не останется здесь, что его отправят в госпиталь, а там, может, и совсем увезут из Одессы, и он уже никогда не увидит этой красивой девушки, которая сейчас бинтует его.

- Откомандовался, - сказал он и снова закрыл глаза.

Левашов, наблюдавший за перевязкой, выругался:

- Второго командира полка мне за сутки меняют, паразиты!

- Бой выиграли - и то хлеб, - сказал Ковтун, открыл глаза и первым увидел шедшего по окопу Ефимова.

Ефимов бил такой же, как всегда. Мешковатая гимнастерка горбилась на спине, рука висела на черной косынке, а кавалерийский хлыстик пощелкивал по сапогам. Подойдя, он осторожно пожал Ковтуну левую руку и взялся за трубку телефона.

- Давайте двойку через двадцать третий!

Двадцать третий был штаб дивизии, двойка - штаб армии.

- Товарищ член Военного совета, - с полминуты нетерпеливо продержав трубку около уха, сказал он. - Говорит Ефимов. - Он

был взволнован и пренебрег условными позывными. - Отбились.

Потери большие. - Он повернулся в сторону Ковтуна. - Два командира полка - девяносто четвертого и девяносто пятого, - один контужен, другой ранен, но отбились! Уложили противника - счету нет, сами такого еще не видели. Благодарю! Понятно. Благодарю! К восемнадцати не успею, а в девятнадцать буду. Собирайте. Хорошо. У меня тоже все... Ах, тришкин кафтан, тришкин кафтан, - вздохнул он, имея в виду не только вышедшего из строя Ковтуна, но и свой разговор с членом Военного совета. Ставка утвердила его командующим, и надо было решать, кому сдавать дивизию. Он вздохнул еще раз и сказал телефонисту, чтобы тот соединил его с командиром второго батальона Слеповым. - А ты, Левашов, - обратился Ефимов к Левашову, пока телефонист вызывал Слепова, - пошли кого-нибудь, чтобы мою полуторку подогнали.

- Как бы не обстреляли, - сказал Левашов.

- Сейчас не обстреляют, - уверенно сказал Ефимов и снова нагнулся к Ковтуну: - Больно?

- Не знаю, товарищ генерал, еще не расчухался.

- Чем санитарки ждать, в кабину моей полуторки сядешь - и прямо до первой градской больницы. Была градская, а стала наша. Полдивизии в ней перележало. Ну, что там у вас? - заторопил он телефониста. - Где Слепов?

- Докладывают - в роту пошел. Сейчас соединят.

- Думаю вместо вас пока Слепова на яолк поставить, - сказал Ефимов, обращаясь к Ковтуну. - Какого вы о нем мнения?

- Не успел составить, товарищ генерал, - ответил Ковтун.

- Это, впрочем, верно, - сказал Ефимов. - Вернетесь из госпиталя, составите!

- Утешаете, товарищ генерал.

- А раненых положено утешать.

- Обидно, что обратно в дивизию навряд ли попаду, - с горечью сказал Ковтун.

- Почему? Рапорт по команде: хочу продолжать несение службы в своей части!

- Ответят, что не кадровый. Послужил в одной - послужишь в другой. Да и какие уж тут претензии, когда война.

- А по мне, такие претензии на войне должны больше уважаться, чем в мирное время. И кто имел возможность уважить такой рапорт, а не уважил дурак! - сердито сказал Ефимов.

Он принял из рук телефониста трубку и, спросив Слепова, через сколько времени тот может прибыть сюда, приказал явиться, сдав батальон заместителю.

Подминая под себя кусты, ефимовская полуторка подъехала к

самому окопу. Левашов вместе с Ефимовым помог Ковтуну вылезти из окопа. Хотя в посадках было почти сухо, Ковтуну от потери крови казалось, что он при каждом шаге вытягивает ноги из-под земли.

Доведя Ковтуна до машины, Левашов забежал с другой стороны и, перегнувшись через руль, помог ему усесться в кабине.

Лицо Ковтуна побелело от усилия, с которым он все-таки дошел до машины своими ногами.

- Спасибо за службу, капитан Ковтун! - глядя в бледное лицо Ковтуна, сказал Ефимов. - А вы, Тимченко, отвезете капитана в госпиталь и возвращайтесь за мной в штаб полка. Да поосторожней его везите, - вдруг прикрикнул он. - Знаете, что значит ездить осторожно?

- Так точно! - бодро ответил шофер, хотя за три месяца езды с Ефимовым запамятовал, что значит ездить осторожно.

- Сказка про белого бычка, товарищ генерал, - опечаленно сказал Левашов, когда машина отъехала. - Не везет девяносто пятому.

- Как ваше мнение о Слепове? - вместо ответа спросил Ефимов.

- Как прикажете, - сказал Левашов.

- А ты не фордыбачься, - сказал Ефимов. - Твой характер мне известен. А что заранее с тобой не посоветовался - прощения просить не буду, тем более что ты все равно бы назвал Слепова.

Так или нет?

- Так, - Левашов улыбнулся.

- Чего улыбаешься?

- Конечно, есть еще одна кандидатура, - продолжая улыбаться, сказал Левашов.

- Старая песня. Только не пойму, на что напрашиваешься:

на похвалу или на выговор?

- На выговор, товарищ генерал. Хотя бывали, конечно, в жизни случаи...

В словах Левашова содержался намек на прошлое самого Ефимова, который перешел с политической работы на строевую только в середине гражданской войны.

- Мало ли что тогда бывало.

- Знаю, полком командовать не дадите, а с батальоном справился бы, сказал Левашов.

- А мне не надо, чтобы вы справлялись с батальоном. - Ефимов вернулся к обращению на "вы". - Хотел бы верить, что придет время, и вы справитесь с дивизией в качестве ее комиссара.

Но для этого вам надо поменьше пить и матерщинничать,

пореже показывать, заметьте, не проявлять, а показывать свою храбрость, а главное, научиться считать про себя до трех, прежде чем сказать или скомандовать.

- Почему до трех? - не сразу понял Левашов.

- А чтобы за это время успеть подумать, соблюдая нормальный процесс: сперва подумал - потом сказал, а не наоборот. Вот Слепов, - издали кивнув на появившегося в конце окопа саженного капитана в каске и накинутой на плечи плащ-палатке, - тот, наоборот, иногда слишком долго думает. Советую взаимно поделиться опытом. Здравствуйте, Слепов!

Слепов приложил руку к большой лобастой голове и посмотрел на Ефимова внимательным медленным взглядом. Попав в девятнадцатом году воспитанником музыкантской команды в этот самый полк, Слепов служил в нем уже двадцать два года и понемногу, каждый раз с великим трудом, но зато прочно поднимался со ступеньки на ступеньку. Не первый день зная Слепова, Ефимов верил, что этот неповоротливый человек исправно потянет полк в одной упряжке с умным, но зарывающимся Левашовым.

- Принимайте полк, Слепов, - сказал Ефимов и снизу вверх - на Слепова все без исключения смотрели снизу вверх - поглядел в неподвижное, топором вырубленное лицо капитана,

- Слушаюсь, - сказал Слепов, и, хотя это было самое значительное мгновение во всей его армейской жизни, его лицо не выразило никаких чувств.

16

Ефимов пробыл на передовой еще около часа. Весь день, пока шел бой, он чувствовал себя по-прежнему командиром дивизии, но с тех пор, узнав, что его назначение на армию состоялось, с каждой минутой все больше отвлекался мыслями в будущее.

Уже на обратном пути один из тех снарядов, что немцы наугад бросали перед ужином, чуть не накрыл Ефимова и всех, кто с ним был. Ефимов едва успел соскочить с "танка". Поднявшись, он увидел Левашова, который держался правой рукой за левую.

- Зацепило?

Левашов, закатав рукав гимнастерки, пощупал застрявшие под кожей мелкие осколки.

- Ничего, - сказал он, - как слону дробина - фельдшер вынет.

- Вот что, - сказал Ефимов, - мне надоело с вами возиться.

Я вам уже в прошлый раз приказывал пойти после ранения в медсанбат; тогда открутились, но на этот раз - пойдете! Подумаешь мне, незаменимый!

- Так что это за ранение? Курам на смех, бекасинник! - снова

ощупывая руку, сказал Левашов. - Вы же в госпиталь с вашей рукой не легли? А если по делу - вас самих давно бы надо отправить!

- Держи карман шире, - сказал Ефимов.

Они снова сели на "танк" и поехали.

- Вот что, - сказал Ефимов - они приближались к штабу полка. - Я прямо от вас поеду в Одессу и захвачу вас с собой! Заедете в госпиталь, навестите Мурадова и Ковтуна, а кстати, вынете осколки. Дело к ночи, в полку без вас ничего не случится. Так или нет, Слепов?

- Так точно, - сказал Слепов.

Левашов молчал. По правде сказать, он обрадовался.

Приехав в штаб полка и зайдя в хату Левашова, Ефимов посмотрел на часы. Чтобы поспеть в Одессу к девятнадцати, надо было выезжать через пятнадцать минут. Он сел за стол, потянулся и попросил стакан чаю.

За окном остановилась машина, и в хату, широко распахнув дверь, вошел Бастрюков в шинели, перепоясанной новыми ремнями, и в каске.

- С победой, Иван Петрович! - сказал он и стал снимать каску. Но затянутый под подбородком ремешок не расстегивался, каска не снималась, и Бастрюкову пришлось неловко и долго стягивать ее, постепенно сдвигая с затылка на лоб.

- Здравствуй, здравствуй! - наблюдая это занятие и прихлебывая чай, ответил Ефимов. - Как там у вас в дивизии? - Он имел в виду штаб дивизии. - Надеюсь, все в порядке, потерь нет?

- Все в порядке, - сказал Бастрюков, наконец сняв злополучную каску. С шефами целый день провозился. Приехали с утра и все на передовую рвались. Пришлось, понимаешь, чуть ли не силой удерживать.

- Удержал?

- Привез сюда. Сейчас грузовик подъедет - немного поотстал от меня. Говорят: не вернемся в Одессу, пока на передовой не побываем! Решил их хотя бы сюда, к штабу полка, подвезти под вечер. Вызовем для них с передовой народ, пусть побеседуют!

Оправившись от неудачи с каской, Бастрюков удобно раскинулся на стуле, бросив перед собой на стол до отказа набитую полевую сумку.

В хату вошел отлучавшийся Левашов. Ефимов заметил, что он уже перевязался на скорую руку: из-под обшлага гимнастерки виднелся бинт.

- Слушай, Левашов, - полуоборачиваясь, но не здороваясь, деловым тоном сказал Бастрюков. - Сейчас шефы подъедут. Я

нарочно от них оторвался, чтобы предупредить тебя. Давай вызови сюда для встречи лучших людей с передовой. Ну, скажем... - Он потянул ремень на полевой сумке и с натугой стал вытаскивать оттуда толстую клеенчатую тетрадь.

- А вы не трудитесь, товарищ полковой комиссар, - сказал Левашов. - Я лучших людей и так знаю. Сейчас вызову.

- Ну, скажем, - наконец вытащив тетрадь и не обращая внимания на слова . Левашова, сказал Бастрюков. - Ну, скажем, - повторил он, надевая очки, из второго батальона Коробков.

- Убит Коробков, - сказал молчавший до этого Слепов. - Утром сегодня.

- Убит? - Бастрюков поверх очков посмотрел на Слепова так строго, словно тот был виноват, что Коробков убит, и предполагаемый вызов не может состояться. - Или Горошкин.

- Горошкин жив, можно, - сказал Слепов.

- Давай, - повернулся Бастрюков к Левашову, - сейчас список с тобой набросаем.

- А зачем список, товарищ полковой комиссар? - возразил Левашов. Просто обзвоню батальоны и вызову.

- Все у тебя всегда просто, Левашов, - сказал Бастрюков. - Слишком все у тебя всегда просто, а кандидатуры надо обдумывать! Одесский пролетариат приезжает, нужно, чтобы действительно лучшие люди полка с ними встретились.

- А у нас в полку плохих нет, - упрямо сказал Левашов. - Даже я для людей вроде ничего, только для вас плох.

Это была уже прямая дерзость. Бастрюков поднялся и не своим голосом крикнул:

- Смирно!

Левашов с искаженным лицом встал в положение "смирно".

- Вот что, - тоже вставая, сказал Ефимов. - Левашов, выйдите. И вы, Слепов, тоже. Мы с полковым комиссаром вызовем вас.

Левашов и Слепов вышли.

- Это ты его распустил, Иван Петрович, своего любимца!

- Он не мой любимец, а полка любимец. Вот в чем суть дела.

А тебе даже не интересно знать, почему так? - спокойно возразил Ефимов.

- Все равно, моя бы личная воля, я бы его давно с комиссаров снял, раздраженно сказал Бастрюков. - Он не комиссар, а хулиган.

- Подожди, Степан Авдеич, - по-прежнему спокойно, но твердо сказал Ефимов, кладя руку на плечо Бастрюкову. - Я его, конечно, не оправдываю. Разговаривать, как он сейчас с тобой, не положено. Но человек весь день в бою был, двух командиров полка потерял, сам ранен...

- Если ранен, пусть в медсанбат идет, - сказал Бастрюков.

Он был миролюбив с начальством, но терпеть не мог, когда ему наступали на ноги подчиненные.

- Вот именно, - все так же тихо и твердо сказал Ефимов. - И даже не в медсанбат, а в госпиталь. Я в Одессу еду и, с твоего разрешения, заберу его с собой до ночи, на перевязку.

- А кто же шефов с людьми знакомить будет? Я, что ли? - огрызнулся Бастрюков. При всем своем гневе на Левашова, он не хотел, чтобы тот уехал, оставив его одного с шефами.

- Отпусти его, - повторил Ефимов. - Он поедет, а ты пока тут покомиссарь за него. С шефами посиди, заночуй в полку. Ты тут не так часто бываешь. - В голосе Ефимова послышалась железная нота.

- Ну что же это такое? - вдруг осевшим голосом сказал Бастрюков. Привез в полк шефов, комиссара полка нет. Сорвем встречу.

Он говорил правду, и Ефимов понимал это. Если Левашов уедет, то действительно под руководством одного Бастрюкова человеческой встречи с шефами не получится.

- Хорошо, - сказал Ефимов, подумав. - Пусть остается. Но только ты, пожалуйста, как только шефов проводите, сразу отпусти его в госпиталь. Ладно?

- А на что он мне потом нужен будет? - с полной искренностью сказал Бастрюков. - Конечно, отпущу. А ты что, уже уезжаешь? - спросил он, увидев, что Ефимов надевает фуражку. - Не встретишься с шефами?

- К сожалению, не могу, - сказал Ефимов. - На девятнадцать вызван в штаб армии, - и быстро вышел из хаты.

Бастрюков, выходя вслед за ним, с трудом удержался от готового сорваться с языка вопроса - среди дня он услышал по телефону от одного политотдельского работника, что Ефимова прочат в командующие.

Рядом с "эмкой" Бастрюкова и полуторкой Ефимова стоял грузовик, на котором только что приехали шефы. Шефы - рабочие Январских мастерских, семеро мужчин и одна женщина, - толпились у грузовика, как со старым знакомым, разговаривая с Левашовым, - некоторые из них уже бывали в полку раньше.

- Здравствуйте, дорогие товарищи шефы, - сказал Ефимов и стал по очереди здороваться. - Очень хотел бы сам принять вас в полку, но не сумею. Но товарищи вас примут от всей души, - он кивнул в сторону Левашова. - А пока честь имею кланяться, - приложил он руку к козырьку. Назначен командующим Приморской группой войск и должен немедля отбыть в Одессу.

Он пожал руку Левашову, Слепову и Бастрюкову, для которого, собственно, и не отказал себе в удовольствии сказать

эту последнюю фразу, шагнул к полуторке и, сидя в кабине, еще раз приложил руку к козырьку.

Когда он въезжал в Одессу, уже темнело. Его машина шла по Дерибасовской, а навстречу ей, один за другим выскакивая изза поворота, мчались в сторону фронта грузовики, битком набитые стоявшими во весь рост моряками. Моряки, прибывшие в Одессу вчера на том же угольщике, что и Лопатин, были уже переобмундированы в защитное, но переброшенные через плечо черные скатки морских шинелей и видневшиеся под гимнастерками тельняшки упрямо напоминали о том, что это моряки.

На тротуарах толпился народ. Люди махали руками и кричали, радуясь, что в Одессу, после долгого перерыва, прибыли новые морские части и, значит, ее, вопреки пронесшимся слухам, не собираются сдавать. Глаза Ефимова бежали по лицам стоявших на тротуарах людей, он думал о том, что. где-то среди них, уже дважды запеленгованный, но все еще не выловленный, стоит человек, который сегодня же ночью отстучит на ключе своего радиопередатчика в штаб румынской армии, что в Одессу прибыло пополнение матросы. В данном случае это и требовалось, об этом говорили вчера на совещании в Военном совете. Именно ради этого моряков днем, на виду, переобмундировывали, именно поэтому они так шумно и открыто мчались сейчас через весь город на грузовиках. А все это, вместе взятое, было лишь одной из многих мер, предпринятых, чтобы запутать румын и немцев и, в случае эвакуации, обеспечить ее неожиданность.

Но триста ехавших к фронту моряков не знали этого. Пролетая мимо собравшихся на улицах людей, они махали руками и кричали, а на заднем борту последнего грузовика, придерживаемый за плечи товарищами, свесив ноги, сидел моряк в бескозырке, надетой вместо пилотки, и, вовсю растягивая баян, играл яблочко. Они мчались воевать и умирать на фронт, под Дальник, мимо Ефимова, ехавшего им навстречу в штаб армии принимать ответственность за будущее, а значит, рано или поздно - за эвакуацию Одессы.

Об этом не хотелось думать, но не думать было нельзя.

17

После отъезда Ефимова Бастрюков помрачнел. Случилось как раз то, чего Бастрюков боялся - Ефимов был назначен командующим.

Несмотря на соблюдение всех внешних норм, положенных в общении между командиром и комиссаром, Бастрюков не заблуждался насчет истинного отношения к себе Ефимова.

Правда, в таких делах, как оценка комиссара дивизии, последнее слово было за членом Военного совета, но что теперь стоило Ефимову запросто, с глазу на глаз, сказать члену Военного совета:

- А знаешь, Николай Никандрович, ведь Бастрюков-то не соответствует.

Только на редкость выгодное для Бастрюкова стечение обстоятельств до сих пор заставляло Ефимова скрепя сердце держать при себе свое мнение о Бастрюкове. Ефимов пришел на дивизию перед самой войной с понижением в должности и с репутацией неуживчивого человека. На прежнем месте он не сработался с заместителем, а при разборе дела вспылил и нагрубил начальству. Даже сам Ефимов задним числом не считал себя до конца правым в этой истории. И вот в новой дивизии судьба, как назло, свела его с Бастрюковым.

Поначалу в мирное время ему показалось, что Бастрюков - человек как человек; чересчур любит с важным видом внедрять в подчиненных прописные истины, но это случается и с хорошими людьми...

Что Бастрюков бумажная и вдобавок трусливая душа, Ефимов понял, как только началась война. Но он оценил в Бастрюкове и другое - гладчайший послужной список и готовность в случае необходимости защищаться любыми средствами. Равнодушный к делу и людям, Бастрюков был неравнодушен к себе: принужденный к самозащите, он мог оказаться вулканом энергии. А тут еще предыстория самого Ефимова, которая сразу пошла бы в ход, поставь он вопрос о несоответствии своего комиссара занимаемой должности!

Ефимов понаблюдал Бастрюкова, подумал и на время смирился. И в стрелковых полках и в артиллерийском были на подбор хорошие комиссары; инструкторов политотдела Бастрюков, возмещая на их шкуре собственную неподвижность, беспощадно гонял на передовую; Ефимов нашел там с ними со всеми общий язык и свыкся с мыслью, что у него в дивизии не как у людей: вместо комиссара - скоросшиватель. В общем, он ужился с Бастрюковым, а верней, обходился без него. В этом и состоял секрет их внешне терпимых отношений. Ефимов злился на себя за то, что все это не слишком принципиально, но освободить дивизию от Бастрюкова пока не чувствовал себя в силах, а начинать с ним войну, без твердых надежд на разлуку, не желал.

За все время у них произошел только один по-настоящему крупный разговор из-за Левашова: Левашов во время кровавых сентябрьских боев, когда появились случаи недовода пленных до сборных пунктов, созвал в полку делегатское собрание от всех рот и на нем устроил допрос нескольким пленным румынским

солдатам. Пленные - по большей части крестьяне и батраки - рассказывали мрачные вещи о румынской деревне, об армии и о том, что они терпят от своих офицеров. Собрание произвело впечатление на делегатов, и случаи недовода пленных солдат в полку Левашова сразу прекратились.

Бастрюков разозлился - и потому, что ему не понравилась вся эта затея вообще, и потому, что делегатское собрание было проведено без спросу; он обвинил Левашова во всех смертных грехах, включая разложение бойцов, и потребовал, как самое меньшее, снять его с полка. Ефимов в ответ вспылил и сказал, что, по его мнению, таких, как Левашов, надо не снимать, а повышать, потому что живая душа дороже бумажной, а на войне - вдвойне!

Бастрюков, побледнев, сказал, что Ефимову не мешало бы научиться по-партийному разговаривать хотя бы со своим комиссаром.

- А вы меня партийности не учите, - побагровев, сказал Ефимов. - Я, кстати, и постарше вас, и в партии подавней, с шестнадцатого года. Левашова вам на съедение не дам, и не вздумайте капать на меня в Военный совет. Мне с вами воевать некогда, мне с противником воевать надо, но, уж если вы сами проявите инициативу, я в свою очередь выкрою на вас время!

Это была прямая угроза. Бастрюков, не только не любивший, но и боявшийся Ефимова, сказал, что ради пользы дела не станет обострять отношения с командиром дивизии и оставит его невыдержанные слова без последствий.

Тем и кончилась их перепалка тогда.

Теперь Ефимов был назначен командующим, а Левашов, из-за которого тогда загорелся сыр-бор, этот чертов партизан и любимчик Ефимова, сидел рядом с Бастрюковым в хате и разговаривал с шефами.

"Очередное звание ему ускорит и начнет в комиссары дивизии тащить", - с раздражением подумал Бастрюков, одним ухом слушая, как Левашов рассказывает шефам то о том, то о другом бойце, попавшем в полк из Январских мастерских и уже успевшем выбыть из строя за последние две недели боев. Об одном он рассказывал, как тот погиб: "Пошел в атаку, и убили вот так, рядом со мной, как вы сидите", о другом - при каких обстоятельствах был ранен, про третьего, смеясь, вспоминал, как его пришлось силком отправлять с позиций в госпиталь...

Шефы слушали, и Бастрюков тоже сидел рядом, слушал и молчал - ему нечего было добавить к тому, что говорил Левашов, Когда же он попытался добавить несколько слов от себя, чтобы перевести разговор с частностей в общеполитическое русло,

шефы внимательно выслушали его и сразу же, перебивая друг друга, снова стали расспрашивать Левашова так, словно тут и не было комиссара дивизии.

Один из пришедших с передовой бойцов, молодой слесарек из Январских мастерских, ласково сказал в разговоре про Левашова "наш батя". "Не батя, а батька Махно", - подумал Бастрюков, глядя на Левашова.

Он болезненно завидовал сейчас Левашову, хотя сам никогда не признал бы это чувство завистью. Он с осуждением думал о том, что Левашов зарабатывает себе в полку дешевую популярность, шутит шутки, ведет себя с бойцами запанибрата и вообще все делает не так, как надо, не так, как сделал бы он, Бастрюков, окажись он на месте Левашова.

Но как бы сделал он сам, окажись на месте Левашова, Бастрюков не знал и не мог знать. Потому что он, такой, каким он был, не мог оказаться на месте Левашова, не мог своими глазами видеть, как тот боец погиб в атаке, не мог знать тех людей, которых знал Левашов, не мог помнить их имена и фамилии. Несмотря на свой здоровый, сытый вид, уверенный голос и привычную фразеологию, полковой комиссар Бастрюков внутренне представлял собой груду развалин. Он бесшумно и незаметно для окружающих рухнул и рассыпался на куски еще в первые дни войны, когда вдруг все произошло совершенно не так, как говорили и писали, как учили его и как он учил других. Теперь, не признаваясь в этом себе, и уж конечно никому другому, он в глубине души не верил, что мы сможем победить немцев. Чувство самосохранения, и раньше, до войны, ему не чуждое, чем дальше, тем больше преобладало в нем теперь над всеми остальными чувствами. Стремясь оправдаться перед самим собой количеством дел и забот, якобы против воли приковывавших его к штабу дивизии, он все более бесстыдно уклонялся от поездок на передовую.

Сидевшие в хате шефы, конечно, не могли знать, что представляет собой Бастрюков, но, как видно, их сердца что-то подсказывали им, да и сам вид усталого, заморенного, посеревшего от бессонницы Левашова, с его перевязанной рукой, с его охрипшим, простуженным голосом, уж больно разительно противостоял виду отоспавшегося полкового комиссара. У шефов из Январских мастерских было молчаливое рабочее чутье на людей, и это ощущали и Левашов и Бастрюков; один - испытывая благодарность, другой раздражение.

Когда шефы поднялись уезжать, Бастрюков, вконец измученный завистью к Левашову, нашел, однако, силы переломить себя.

Слишком очевидно было и то, какое впечатление произвел Левашов на шефов, и то, что Ефимов, сделавшись командующим, не только не даст в обиду Левашова, но и постарается выдвинуть его.

"Хорошо бы в другую дивизию", - подумал Бастрюков и, встав проститься с шефами, положил руку на плечо Левашову:

- Вот какие у нас в дивизии комиссары, товарищи шефы. Хотим, чтоб вы знали - такие, как Левашов, Одессу не сдадут!

Слова Бастрюкова понравились шефам и в последнюю минуту переменили в лучшую сторону сложившееся о нем впечатление.

Левашов тоже обрадовался: неожиданно благодушное настроение комиссара дивизии облегчало ему задачу отпроситься в Одессу.

- Товарищ полковой комиссар, - сказал он, когда они, проводив шефов, вернулись в хату, - разрешите отлучиться, в госпиталь съездить - перевязку сделать и на Мурадова и Ковтуна поглядеть. - Он хотел добавить, что Ефимов уже разрешил ему это, но, чтобы не испортить дело, сдипломатничал и промолчал.

Бастрюков посмотрел на него долгим остановившимся взглядом.

- Что ж, - сказал он. - Можно съездить. Ужинал?

- Нет, - спохватился Левашов. - Сейчас соберем поужинать.

- Не надо, - махнул рукой Бастрюков. - Пока будешь собирать... Мы короче сделаем. Сейчас сядем в мою машину. Заедешь со мной в Дальник, там у меня перекусим, а потом я дам тебе машину до госпиталя.

Это было уж вовсе неожиданное и даже странное в устах Бастрюкова предложение.

- Есть, товарищ полковой комиссар! Я только командиру полка скажу, что отлучаюсь, - еще не придя в себя от удивления, сказал Левашов и быстро вышел.

Бастрюков был и сам удивлен неожиданностью собственного решения. Похвалив Левашова при шефах и заметив мелькнувший в его глазах довольный огонек, Бастрюков самолюбиво подумал, что не только Ефимову дано подбирать ключи к таким, как Левашов; потом представил себе ночную степь, по которой не хотелось возвращаться одному, - и вдруг пригласил Левашова - слово не воробей, вылетит - не поймаешь!

Через пять минут, сидя бок о бок в "эмке" Бастрюкова, они ехали по черной ночной степи в Дальник.

Сначала оба молчали.

Левашов думал о том, как бы, не задев самолюбия полкового комиссара, побыстрей закруглиться с ужином и попасть к МураДову.

Бастрюков думал - выставлять или не выставлять к ужину водку.

Его считали в дивизии непьющим, но на самом деле в последнее время он пил почти всякий раз, когда неотступно мучивший его страх смерти обострялся из-за бомбежки, обстрела или поездки на передовую. Собравшись спать, он доставал из чемодана водку и, выпив чайный стакан, ложился с приятным безрассудным ощущением равнодушия к завтрашнему дню. А встав утром, жевал сухой чай и, наказывая себя, особенно долго, до седьмого пота, занимался гимнастикой.

Так и не решив, как быть с водкой, Бастрюков повернулся к Левашову и спросил его - какой заслуживающий внимания материал накопился в полку для завтрашнего политдонесения?

Левашов вспомнил о двух пленных румынах, о которых он рассказывал Лопатину.

- Здорово! Значит, сами по своим взялись лупить? Это уж действительно перетрусили! - выслушав все до конца, заключил Бастрюков.

- Не так перетрусили, как похоже, что классовое сознание заговорило, отозвался Левашбв.

Бастрюков фыркнул:

- Держи карман шире! Наклали от страха в штаны - и все тут! Проще пареной репы! Я почему тебя тогда за делегатское собрание гонял, помолчав, благодушно вспомнил он, - потому что размагничивать себя нельзя: бедные пленные, насильно мобилизованные, классово угнетенные... Враг есть враг! И все!

- Я в бою злой, - сказал Левашов, - я вот этой рукой больше людей убил, чем пальцев на ней. - Он сунул чуть не под нос Бастрюкову свою перевязанную, пахнувшую йодом руку. - А про классовое сознание размагнититься не могу, так уж меня намагнитили!

- Вот и выходит, что ты самый настоящий формалист! - довольно сказал Бастрюков. - Не я, как ты меня за глаза считаешь, а как раз - ты! Чему научили тебя когда-то в школе, то и бубнишь, без учета перемены обстановки. А обстановка повернулась на сто восемьдесят градусов. Я это учитываю, а ты нет.

Левашов ничего не ответил. "Ну и черт с тобой, учитывай", - подумал он, поскучнев от невозможности сцепиться с Бастрюковым. Мешал и сидевший впереди шофер, и их с Бастрюковым обоюдное служебное положение.

Бастрюков понял его молчание по-своему. "Замолчал, потому что нечем крыть", - подумал он и от чувства собственного превосходства подобрел настолько, что все же решил выставить к ужину водку.

Когда "эмка" остановилась в Дальнике, у комиссарского дома, Бастрюков сказал шоферу, чтобы тот не отлучался - через полчаса он поедет с батальонным комиссаром Левашовым в Одессу.

Сказав это, он поднялся на крыльцо, Левашов за ним. У крыльца стоял часовой, а в сенях, в боковом закутке, спал ординарец, вскочивший, лишь когда Бастрюков тряхнул его за плечо.

- Ужин стоит? - спросил Бастрюков.

- Все подготовлено, товарищ полковой комиссар.

- Поставьте еще прибор.

Ординарец порылся в деревенском, крашенном синей масляной краской буфете, достал оттуда тарелку, вилку и нож и, пока Бастрюков и Левашов снимали в сенях шинели, раньше их проскользнул в комнату.

- Ложитесь, спите, - сказал Бастрюков ординарцу. - Заходи, - поманил он за собой Левашова, который привычно забыл на голове фуражку и снял ее только в комнате.

Левашов не один раз бывал по вызовам Бастрюкова здесь, в этой комнате, всегда содержавшейся в образцовом порядке, таком, что даже бастрюковские подчеркивания красным карандашом на сложенных вчетверо газетах казались неотъемлемой частью этого порядка. Сейчас письменный стол Бастрюкова, большой, канцелярский, привезенный из Одессы, был застелен белой салфеткой; на ней стоял накрытый второй салфеткой ужин.

- Садись, времени много нет, - кивнул Бастрюков, снял салфетку, под которой стояли тарелка с винегретом и тарелка с сырниками, потом, посмотрев зачем-то на дверь, - Левашов не понял зачем - поплотнее прикрыл ее, крякнув, нагнулся и вытащил изпод кровати чемодан. Когда он снова задвинул чемодан, в руках у него оказалась бутылка водки.

Левашов не скрыл своего удивления.

- Вообще-то я не пыо, - сказал Бастрюков, - это ты прав, но в частности могу и выпить, зависит от того, сколько, когда и с кем.

Он разлил водку в стаканы и предложил выпить за Ефимова и его новое назначение.

- Рад за Ефимова, - сказал он. - Хотя жаль расставаться.

Я тебя вне службы позвал, и разговор наш - на откровенность!

Сегодня пришлось тебя, комиссара, по стойке "смирно" поставить.

А зачем сам нарывался на это? Вот и поставил. Я тебе твои нервы спускать не могу! А вообще я за мир. За мир! - со значением повторил Бастрюков.

- Эх, Степан Авдеич, какой уж тут мир, когда кругом одна

война, отшутился Левашов. Он не хотел ни объясняться, ни спорить, хотел только одного - поскорей дожевать бастрюковские сырники и ехать к Мурадову.

- Ладно, шути, шути, - сказал Бастрюков. - Но имей в виду - я не первый год служу и находил с людьми общий язык. Если только они сами хотели.

Дальше, наверное, не произошло бы ничего особенного и они бы мирно расстались - Бастрюков в убеждении, что он, если понадобится, найдет общий язык с комиссаром девяносто пятого, а Левашов - мало переменив свои мысли о Бастрюкове; но все вышло по-другому, потому что слегка захмелевшему Бастрюкову вдруг захотелось до конца высказаться перед Левашовым о том, о чем он заговорил еще в машине, - о повороте на сто восемьдесят градусов.

До войны он недрогнувшей рукой испортил бы послужной список всякому, кто вслух, хоть на йоту, усомнился в быстрой и легкой победе. А сейчас был так потрясен случившимся, что искренне готов был свалить всю вину на наше неправильное довоенное воспитание; если еще можно хоть как-то спастись от нагрянувшей беды, надо поскорей и навсегда выкинуть из голов добрую половину того, во что верили раньше! Это казалось ему до того бесспорным, что он не сомневался в действии своих слов на Левашова.

Эта уверенность и толкнула его на откровенность.

- Вообще-то, конечно, в гражданскую, - сказал он, - в головах было еще молодо-зелено... Считали, что мировая революция вот-вот будет! И мадьяры, и австрийцы были в интернациональных батальонах, и финны... У нас, в запасном полку, Миккелайнен начштаба был, его потом посадили - оказался шпион. Думали - интернационал до гроба, а где теперь эти австрийцы, и мадьяры, и финны? Все против нас воюют! Вот тебе и мировая революция! Это хорошо, что в газете "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" сняли. "Смерть немецким оккупантам!" - и все, и точка, и больше ничего не надо. Ясно и понятно! Я рад был, когда прочел!

Левашов, в противоположность Бастрюкову, не был рад, когда увидел, что над заголовком армейской газеты исчезли привычные с детства слова: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Грозные слова: "Смерть немецким оккупантам!" - пришлись ему по душе, но он тут же подумал - неужели нельзя было, написав их с одной стороны, с другой поставить по-прежнему "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"? Ему казалось, что это вполне можно было сделать. Он даже тогда вгорячах поделился своими мыслями с Мурадовым, но Мурадов отрезал, что, может, он и прав, но их дело солдатское воевать, а не рассуждать о заголовках.

Но сейчас об этом заговорил сам Бастрюков, и заговорил так, что Левашов понял: да, есть люди, которые считают, что раз на газетах не пишут "Пролетарии всех стран...", то для них теперь все проще пареной репы! Они рады не думать надо всем тем, над чем бьется он, Левашов: как же так были Тельман, юнгштурм, Ротфронт, Германская компартия - и вдруг сто семьдесят дивизий фашистов! И человек, который не хотел ни о чем этом думать, сидел перед ним и был комиссаром его дивизии!

- А как же вы теперь думаете насчет мировой революции, товарищ полковой комиссар? - до крайности взволнованный собственными мыслями, спросил Левашов.

- А я об ней не думаю, - отрезал Бастрюков. - Фашисты почему сильно воюют? Они не думают, они знают одно - бей, и все!

А у нас какое было воспитание? Это - можно! То - нельзя! Да как же все так случилось? Да почему ж этому в Германии рабочий класс не помешал?.. Вот и проудивлялись, пока треть России не отдали! А по-моему, будь у нас поменьше этого интернационализма раньше - позлей воевали бы теперь! Тем более что время само показало, как иностранец - так через одного, хоть и с партбилетом, а шпион!

У Левашова даже подкатил комок к горлу от этих слов. У него не исчезло и, наверное, никогда не исчезнет удивление - как же это все получилось, как Германия стала фашистской? Но он никогда не боялся фашистов и не боится их сейчас; он убивал их, и будет убивать, и, пока жив, никуда не уйдет с передовой. Но он так же твердо был уверен, что Бастрюков, которого не мучили никакие такие мысли и который считал, что мы будем сильней воевать без этих мыслей, что этот самый Бастрюков боялся и боится фашистов и употребляет и будет употреблять всю свою изворотливость, чтобы продержаться всю войну подальше от передовой.

"Нет, врешь, - подумал Левашов, задетый за то самое святое в своих чувствах, из-за чего он считал себя коммунистом и был им на самом деле. Врешь, меня-то правильно воспитали, хоть ты и говоришь, что я отдал треть России, а вот тебя..."

- Так как же все-таки с мировой революцией, товарищ полковой комиссар? - все еще борясь с собой, с угрожающим спокойствием спросил он. - Будет она когда-нибудь, по-вашему, или не будет?

- А пес с ней, потом разберемся... - не заметив его состояния, с хмельным упорством ответил Бастрюков.

И тут все, о чем, с трудом сдерживая себя до сих пор, помнил Левашов и в дороге и здесь, разом выскочило у него из головы.

- Какой же вы после этого полковой комиссар? - бешено

прошептал он в лицо Бастрюкову.

- Ты чего, ты чего, - отстранился испуганный его страшным лицом Бастрюков, - напился, с ума сошел...

- Я - не вы... Со стакана не хмелею. А вот вы... Интересно бы на вас посмотреть, если б вы в плен к фашистам попали, как бы вы там заговорили? Может, и на Россию без большевиков согласились, раз вам - пес с ней, с мировой революцией?

- Говори, да не заговаривайся! - поднялся Бастрюков. - Встать!

Но Левашов уже стоял на ногах.

- Вы меня вне службы позвали, на откровенность? - попрежнему не повышая голоса, сказал он. - Так вот вам на откровенность: паникер вы и сволочь, а не комиссар. И когда-нибудь вам это в послужной список так и впишут уволить, как сволочь!

Левашов надвинул на лоб фуражку и вылетел из комнаты, прежде чем вконец опешивший Бастрюков успел что-нибудь ответить.

Ординарец в сенях спал как ни в чем не бывало. Левашов схватил с гвоздя шинель и оказался на улице. Он выскочил, не думая, как ему быть дальше, но, увидев у крыльца "эмку" и дремавшего в ней шофера, мгновенно решился: семь бед - один ответ!

- Поехали! - беря себя в руки, спокойно сказал он шоферу. - Полковой комиссар приказал вам съездить со мной в Одессу.

Когда Левашов выскочил из комнаты, Бастрюков хотел крикнуть, задержать его, вообще сделать что-то - он еще сам не знал что, но и голос и силы отказали ему. За окном зафырчал мотор, и Бастрюков услышал, как отъехала машина.

- Сиротин!.. - заорал он, только в эту секунду наконец освободившись от оцепенения. - Сиротин!

В дверях появился ординарец. Он испуганно смотрел в перекошенное лицо Бастрюкова.

- Где вы были?

- Здесь, в той комнате, вздремнул немножко, товарищ полковой комиссар.

Бастрюков окинул взглядом ординарца, увидел красную полосу на его щеке и понял, что тот говорит правду, - он спал и ничего не слышал. Посмотрев на стол с пустой водочной бутылкой и остатками ужина, потом еще раз на ординарца и поняв всю абсолютную невозможность без вреда для себя официально донести о случившемся, Бастрюков подумал о Левашове с тяжелой беспощадной ненавистью и, вытащив из кармана платок, вытер холодный пот.

Всю дорогу до госпиталя Левашов торопил шофера. Удовлетворение от того, что он врезал Бастрюкову правду-матку, сменилось досадой: с кем поделишься этим и кто тебе поверит? Ты ведь и сам еле поверил, своим ушам! Только открой рот - и Бастрюков отопрется и вывернет все наизнанку, и еще тебя же затаскает по комиссиям. Нет, он не доставит Бастрюкову такого удовольствия.

А Бастрюков? Если Бастрюков сейчас же, сгоряча, не поедет жаловаться начальству, то, остыв, не сделает этого. Правды он не скажет, - не может, но, даже если переврет все вкривь и вкось, все равно останется неприятная для него двусмысленность: пригласил, выпили, поскандалил с подчиненным, и вдобавок все это вне службы, с глазу на глаз... Другое дело, что Бастрюков завтра же начнет мстить. Ну что ж, сам знал, на что шел - жизнь теперь будет лютая. А впрочем, война может все списать за одну минуту, был Левашов - и нет его! Против обыкновения вдруг допустив мысль о возможности собственной смерти, Левашов с двойным ожесточением подумал о Бастрюкове: "Как же так - меня не будет, а он будет? И после войны будет?"

- Нет, врешь, не умру! - яростно прошептал он, как будто Бастрюков хотел и дожидался его смерти.

Городские улицы были пусты и черны. В порту горело, в небе вспыхивали разрывы зенитных снарядов. В Одессе было тревожно, как во всяком ночном городе, над которым кружат чужие самолеты.

Подъехав к госпиталю, Левашов вылез из машины и саданул кулаком в закрытые железные ворота.

В приемном покое все спали. Дежурная сестра спала, положив одну руку под щеку, а другую на телефон так, словно заснула, не успев снять трубку. На кушетке, накрытой рваной, нечистой клеенкой, спал дежурный врач. Один сапог у него был сброшен на пол, а другой не снят. "Видно, сил у бедного не хватило", - сочувственно подумал Левашов о враче, но подошел и растолкал его.

- Чего вам? - сонно откидывая голову к стене, спросил врач, глядя припухшими глазами на стоявшего перед ним батальонного комиссара в сдвинутой на затылок грязной фуражке.

- Два небольших осколочка вынуть надо, - дотрагиваясь до вылезавшего из-под обшлага гимнастерки бинта, сказал Левашов. - Но это потом. Дайте мне сведения, в каких у вас палатах находятся полковник Мурадов, капитан Ковтун и, возможно, интендант второго ранга Лопатин, - добавил он, вспомнив, что Лопатина с его хотя и легким, но лицевым ранением тоже могли переправить сюда из медсанбата. - Хочу их навестить.

- Время неподходящее, товарищ батальонный комиссар.

Ночь. Госпиталь спит.

- А нам по утрам нельзя сюда, товарищ военврач третьего ранга. Мы по утрам воюем. Так что будьте добры проводить меня к ним.

- Добрым-то я, возможно, и буду, - вставая наконец на ноги, сказал врач. - Только вот вопрос: не отправлены ли они на эсминец. Триста душ отгрузили. Видите, с ног сбились, спим на дежурстве. Марья Петровна, а Марья Петровна! - Врач снял руку медсестры с телефона, и рычажок звякнул. Медсестра проснулась не от его слов и прикосновения, а от этого звукам Где регистрационная книга? Поживей просыпайтесь. Видите, человек ждет.

Сестра вздохнула, протерла глаза и выдвинула ящик стела, в котором лежала большая регистрационная книга.

- Сейчас посмотрим, где они, ваши, - сказал врач, перегибаясь через плечо сестры и перелистывая книгу. - А, б, в, г, д...

- Первым Ковтуна смотрите, - сказал Левашов. - Он на "к" - Ковтун.

Военврач продолжал перелистывать книгу.

- Карпов, Кавтарадзе... - под нос бормотал он. - Колоколов, Корниенко... Вот - Ковтун! Выбыл, отгрузили. Ковтун - плечевое, пулевое. Ваш?

- Наш.

- Отгрузили. Кто дальше? Муратов?

- Мурадов, - поправил Левашов.

- Все равно на "м", - сказал врач и опять начал перелистывать книгу. Полковник Мурадов. Ранение в область кишечника.

Ваш?

- Мой, - сказал Левашов.

- Тоже отправлен. Этого помню. Тяжелый. Кто еще?

- Переверните обратно на один лист, - сказал Левашов, - на "л" посмотрите. Лопатин.

Лопатина в книге не было.

- Когда отвалит эсминец?

- А это уж нам неведомо, - сказал врач. - Мы отгрузили - и все! А когда отплытие? - Он пожал плечами. - Это и говорить не положено. Этим немцы интересуются!

- А это точно, что вы их обоих отправили? - строго спросил Левашов.

- Вы что, смеетесь? - обиженно сказал врач. - Будите людей, вам по-человечески объясняют, а вы начинаете дурака валять!

Вы что, выпили, что ли?

- Я не выпил, - вдруг обидясь, крикнул Левашов: у себя в

полку за все эти тяжкие сутки он не взял в рот ни глотка, а про выпитый у Бастрюкова стакан забыл, словно его и не было. - Я не выпил. Я в бою был. Устал. Соображаю плохо. Почему вы смеете говорить мне, что я выпил?

- Не шумите, - примирительно, но твердо сказал врач, - У вас нервы, у нас нервы. Вы их на немцев и румын расходуйте, а на меня нечего! Сказал, что отправил ваших товарищей, значит, отправил.

- Извиняюсь, - Левашов показал на стоявший на подоконнике графин. Вода?

- Вода.

Левашов налил из графина стакан мутной теплой воды и жадно выпил ее.

- Спасибо, - сказал он, вытирая рукой губы. - Поехал.

- А как же осколки? - окликнул его военврач, когда он был уже в дверях.

- Осколки? - переспросил Левашов. Он и забыл про свои осколки. - Из порта обратно заеду.

На стоявшем у пирса эсминце поспешно заканчивались приготовления к отплытию. Чтобы уменьшить опасность бомбежек, надо было затемно пройти Тендерову косу и попасть в зону прикрытия своих истребителей. Раненые были погружены, но к пирсу все подъезжали и подъезжали новые грузовики с ящиками: по приказу Военного совета из Одессы эвакуировали музейные ценности.

У двух трапов стояли моряки с винтовками. Они не пропускали на эсминец ни одного человека. Бойцы и гражданские разгружали и складывали ящики у трапов, а на эсминец их таскала команда.

Посмотрев на строгих морячков, стоявших с винтовками по обеим сторонам трапов, Левашов понял, что тут не проскочишь, и стал высматривать какое-нибудь морское начальство.

- Калюжный, Калюжный, не прохлаждайся! Этот ящик краном надо брать. Кран давай! - кричал, стоя в двадцати шагах от Левашова, спиной к нему, короткий, плотный морячок-командир, в куцем кительке и с пистолетом на длинных морских ремнях, при каждом движении хлопавшим его по толстой ляжке.

- Слушайте, товарищ морской бог, - сказал Левашов, подходя к нему сзади. - Как бы попасть на вашу посудину?

Морячок повернулся и, вздернув голову, выставил навстречу Левашову богатырский орлиный нос. Он явно собирался выругаться, но вместо этого расплылся в улыбке и, протянув Левашову коротенькую руку, воскликнул: "Федя!" - с таким выражением, словно только и ждал встретить Левашова, именно

сейчас и здесь, в Одесском порту, около своего эсминца. Это был Гришка Кариофили, керченский грек, земляк Левашова, а потом его однокашник по военно-политическому училищу. Они не виделись семь лет.

- Ты чего здесь делаешь, Гришка? - спросил Левашов.

- Комиссарю на этом красавце, - сказал Кариофили. - А ты?

- С утра был комиссаром полка.

- А теперь чего?

- А теперь хочу драпануть вместе с тобой из Одессы. Возьмешь?

- А если серьезно?

- Приехал попрощаться, ты сегодня за один рейс двух моих бывших командиров полка увозишь.

- Двух сразу? - спросил Кариофили. - Слыхал, что у вас туго, но не думал, что так!

- А ты съезди на передовую, погляди. С воды не все видать! - сказал Левашов.

- Сахаров! - крикнул Кариофили стоявшему у трапа моряку.

Он за время погрузки отвык говорить и только кричал. - Проводите батальонного комиссара в кают-компанию. Учти, через десять минут отвалим! - крикнул Кариофили Левашову, когда тот поднимался по трапу. - А то и правда в дезертиры попадешь!

В кают-компании эсминца на диванах и на матрацах, разложенных по всему полу, и даже на длинном столе лежали раненые командиры. Когда Левашов вошел, врач в морской форме, согнувшись над лежавшим на тюфяке у самых дверей раненым, впрыскивал ему что-то в бессильную, неподвижную руку. В кают-компании стоял запах ксероформа.

Осторожно пробираясь между матрацами, Левашов наконец нашел Ковтуна. Ковтун лежал в углу кают-компании и смотрел в одну точку перед собой, не обращая внимания на окружающее.

Он не сразу заметил Левашова, а узнав его, хотя и обрадовался, но уже посторонней, вялой радостью человека, которого пришли навестить из другого, надолго отрезанного мира.

- Как дела? - спросил Левашов. - Живой еще?

- Живой, - сказал Ковтун. - Мне бы только эту чертову воду переплыть. Лежу и думаю: разбомбят на воде, и уйдешь вниз, как гиря. Плавать не умею, боюсь - и все тут. Если б хоть боли мучили - воткнули бы, как другим, шприц, и проспал до Севастополя.

- А ты скажи, что болит, - посоветовал Левашов. - Где Мурадов, не знаешь?

- Не видал, - сказал Ковтун. - Мы теперь - дрова, куда положили, там и лежим.

- Я к тебе еще зайду, - сказал Левашов. - Пойду его поищу.

Пройдя мимо остальных раненых и убедившись, что в каюткомпании Мурадова нет, Левашов вернулся к дверям. Врач в морской форме распоряжался выносом того, кому он пять минут назад делал укол. Раненый, не приходя в сознание, умер; два краснофлотца поднимали мертвеца.

- Не скажете, товарищ военврач, где у вас тут полковник Мурадов? У него тяжелое, в живот, - добавил Левашов, понимая, что это стало теперь главным отличительным признаком полковника Мурадова.

- Двое самых тяжелых в каюте первого помощника. Налево первая.

"Плохо дело", - подумал Левашов.

В каюте на койке и на диване лежали раненые. У стола, повернувшись на винтовом кресле лицом к двери, спал санитар в халате поверх общевойсковой формы.

"Наверное, взад и вперед плавает, сопровождает", - подумал о нем Левашов и узнал лежавшего на койке Мурадова.

Мурадов был в жару и без памяти. Его башкирское, скуластое лицо похудело, заострилось, глаза были зажмурены, а изо рта вырывалось клокотанье вперемежку с обрывками непонятных слов.

Мурадов, от которого Левашов никогда не слышал ни слова на его родном языке, в беспамятстве бредил по-башкирски.

Странное чувство испытывал Левашов, стоя над бредившим Мурадовым. Он оставил полк, поднял на ноги госпиталь, проник на эсминец и вот, стоя над этим человеком, ради которого добирался сюда, ничего не мог ни сказать ему, ни спросить у него.

Так он стоял над Мурадовым молча минуту, две и наконец, не зная, как сделать то, ради чего ехал сюда, - как проститься с ним, нерешительно положил свою руку на бессильно лежавшую на простыне большую, потную, горячую ладонь Мурадова. И вдруг пальцы Мурадова дрогнули, его рука, словно сведенная судорогой, сжала руку Левашова с такой силой, что Левашов чуть не вскрикнул, и лишь через минуту, когда пальцы Мурадова ослабели, с трудом высвободил руку.

Таким было их последнее рукопожатие, о котором Левашов еще долго помнил потом, - не просто держал в памяти, а помнил рукою, кожею пальцев.

Ковтун терпеливо ждал возвращения Левашова и думал о том, что едва ли в Крыму дислоцируется сейчас много тыловых госпиталей. Наверно, раненых перегрузят в Севастополе с эсминца на транспорт и опять по воде отправят в Новороссийск

или Туапсе.

Жена, эвакуированная в Сочи, писала ему, что там теперь кругом во всех санаториях госпитали.

"Возможно, там и увидимся", - думал Ковтун с надеждой и тревогой.

Левашов вошел тихий, потерянный, не похожий на себя.

- Нашел Мурадова? - спросил Ковтун.

- Нашел, - Левашов безнадежно мотнул головой. В глазах его стояли слезы. - Ладно, - сказал он и пожал здоровую руку Ковтуна. - Прощай, командир полка.

На борту, у трапа, держа на ладони карманные часы и сердито поглядывая на них, стоял Гришка Кариофили.

- Отчаливаешь? - спросил Левашов.

- Сейчас отвалим. С этими армейцами каши не сваришь. Все погрузили, так нет, позвонили на пирс, должны перекинуть в Севастополь двух пленных румынского полковника и немца-артиллериста.

- Немец наш, - сказал Левашов. - Этого немца мы взяли сегодня.

- Штаб флота ими интересуется, - сказал Кариофили. - А по мне - на черта они сдались! Сунул бы их головой в воду - и все!

Если затемно Тендерову не пройдем - начнется обедня! - Он посмотрел на небо и снова на часы. - Слушай, - тихо сказал он, отведя Левашова в сторону от трапа, - хреновые новости. Немецкое радио вторые сутки травит, что они к Вязьме прорвались.

- К Вязьме? - поражение переспросил Левашов. - К какой Вязьме?

- Одна Вязьма - под Москвой.

- Врут, - сказал Левашов, хотя сердце у него похолодело.

Четверо матросов подвели к трапу двух людей с мешками на головах. Они сослепу неуверенно нащупывали доски, и Левашов заметил, как у обоих дрожат ноги.

- Все, - сказал Кариофили, когда пленные прошли мимо них. - Отдаем концы. Иди. А то прыгать придется!

Матросы уже взялись за трап. Левашов сбежал и, повернувшись, остановился на пирсе. Борт эсминца пополз мимо него.

Все мысли, которые только что владели Левашовым, - что вот отойдет эсминец и на нем навсегда уплывут из Одессы два его бывших командира полка, что Ковтун выздоровеет, а Мурадов, скорей всего, умрет, что Ефимов уходит на армию, а Бастрюков остается в дивизии и что вообще больно уж каторжными для него, Левашова, оказались последние сутки, - все эти мысли

отвалились в Сторону, и вместо них возникло одно страшное словъ, "Вязьма".

- Врут! - еще раз вслух сказал Левашов, и его потянуло скорей обратно в свой полк, который стоял и будет стоять и драться здесь, под Одессой, хотя румыны и немцы еще месяц назад, так же как, наверно, сейчас про Вязьму, врали, что с Одессой покончено.

Через час, так и не заехав в госпиталь и заставив упиравшегося бастрюковского шофера довезти себя до самого штаба полка, Левашов вылез у своей хаты.

- Кто идет? - окликнул его часовой.

- Комиссар полка! - громко откликнулся Левашов и вошел в хату.

На койке Мурадова, закинув длинные ноги в сапогах на застеленный газетой табурет, спал одетый Слепов, а за столом сидел Лопатин и, боком нагнув к самому столу наискось обвязанную бинтами голову, что-то писал.

- Ты что тут колдуешь? - удивленно спросил Левашов, сбрасывая шинель. Я его по госпиталям ищу, а он тут!

Лопатин объяснил, что решил все-таки вернуться в дивизию - доделать недоделанное. Ранение у него, как выяснилось, действительно пустяковое, царапина. Но из-за ушиба глаза придется несколько дней ходить с повязкой и ставить на ночь вот такие компрессы, какой у него сейчас.

- Так обмотали, что даже очки сверху не лезут, - сказал он. - Но утром, когда сниму компресс, полезут.

- А откуда очки? Твои ж - в лепешку!

- Запасные. Заказал, на свое счастье, в Симферополе.

- Какое уж тут счастье, когда чуть без глаза не остался, - вздохнул Левашов, - это я виноват - пихнуть бы тебя тогда головой вниз поглубже, и был бы кругом цел. У нас, уже после тебя, Ковтуна ранило.

- Я знаю, мне сказали, - кивнул Лопатин на спавшего Слепова.

Левашов стащил сапоги, снял ремень с наганом и, расстегнув ворот гимнастерки, присел на край широкой деревянной кровати.

- Давай спать ложиться. Только к стенке ложись, а то меня могут к телефону поднять.

- Я еще посижу, кое-что запишу, а то до завтра забуду, - сказал Лопатин.

- А что забудешь, то и шут с ним - значит, неважное. - Левашов лег на кровать, к стенке, и до горла накрылся шинелью. - Чудная вещь война, помолчав, сказал он. - Казалось бы, люди на ней должны меньше разговаривать, чем в мирное время, а они почему-то наоборот. Я думал над этим. Я вообще иногда думаю - не замечал?

- Замечал, - отозвался Лопатин.

- Думал, думал и решил - наверное, потому, что на войне сегодня не доскажешь, а завтра не придется: или сам не сможешь, или слушать некому будет. А между прочим, если бы я в разное время жизни нескольких своих мыслей разным людям не выложил, может, уже три шпалы бы носил. А мысли были не глупые и не вредные, я от них и теперь не отказываюсь. И вот бывает, лежу и думаю: как же так? Мысли хорошие, а жить мне мешают. Не всегда - иногда. Но все равно, разве это годится?

А ведь я своим мыслям по-солдатски в любую минуту, днем и ночью, готов боевую поверку сделать. Я не пасхальное яичко, которое от красной скорлупки облупить можно! Ты меня слушаешь?

- Я слушаю...

- Я заметил, что слушаешь, потому и говорю. Только не думай, что я умный, я и дурак бываю.

Левашов, заскрипев матрацем, подвинулся на кровати, заложил руки за голову и закрыл глаза.

На столе затрещал телефон, и, как только он затрещал, Левашов понял, что лежал и не спал, потому что ждал этого звонка.

Дотянувшись до трубки, еще только поднося ее к уху, он услышал далекий и, как ему показалось, злой голос Ефимова:

- Левашова!

"Все же нажаловался, - подумал он о Бастрюкове с неожиданно нахлынувшим облегчением. - Черт с ним! Выложу все - и будь что будет!"

- Левашов слушает, товарищ командующий!

- Был у Мурадова? - спросил Ефимов, и Левашов понял, что ошибся.

- Был.

- Как он?

- Похоже, не выживет.

- А я, как только кончился Военный совет, поехал и опоздал, эсминец отвалил. - Ефимов вздохнул в телефон.

- Все равно он без сознания, - сказал Левашов, почувствовав горечь в голосе Ефимова.

- Ему все равно, мне не все равно, - сказал Ефимов. - Сейчас! оторвался он куда-то в сторону - наверно, его звали к другому телефону. Спали?

- Нет еще.

- Поспите, сколько удастся. Завтра надо ждать новых атак.

Доброго здоровья.

- Который час? - положив трубку и снова улегшись и на

крывшись шинелью, спросил Левашов у Лопатина. Свои часы он вдребезги разбил еще днем в бою.

- Ровно двенадцать.

- Сделай одолжение - поставь ходики, подыматься неохота.

Лопатин подошел к висевшим на стене ходикам и, поставив стрелки на двенадцать, подтянул гирю.

- Вот и еще день прошел, - сказал Левашов и, откинув шинель, приподнялся на локтях, так, словно увидел что-то встревожившее его.

Лопатин повернулся к двери, но там никого не было.

- Ты говоришь, что все лето на Западном был; от Вязьмы до Москвы, если машиной, сколько? - неожиданно для Лопатина спросил Левашов.

- В разное время по-разному ездили. Если днем, без задержек - часов шесть. Ночью, без фар, конечно, дольше.

- А от Вязьмы до передовой - сколько?

- Смотря куда ехать. Я последний раз был под Ярцевом; туда от Вязьмы, если по карте, - сто десять, а если с объездами, - сто тридцать, даже сто сорок. А что? - спросил Лопатин, почувствовав за неожиданными вопросами что-то, недоброе.

- Так, просто подумал, как тут у нас и как в других местах, - покривил душой Левашов. Сначала, спрашивая об этой, не выходившей у него из головы, Вязьме, он смутно надеялся - а вдруг корреспондент "Красной звезды" знает и расскажет ему про Вязьму совсем другое, чем Гришка Кариофили, снимет камень с души.

Но когда вместо этого услышал от Лопатина "а что?" - вопрос ничего не знавшего человека, - сдержался, решил и сам не делиться с ним тем, что услышал.

Лопатин сидел, повернувшись к нему, и молчал, словно ожидая чего-то еще несказанного; и Левашову стало неловко.

- Вы меня извините, что я вас все на "ты". Хотя и по дружбе, но привычка дурацкая, тем более что вы постарше меня, - виновато сказал он.

- Это ерунда, за это - бог простит, - сказал Лопатин. - А вот с чего это вы вдруг меня - про Вязьму? Не хотите - не отвечайте. Но имейте в виду: в вашу байку - что просто так - не поверил.

- Значит, не выходит у меня врать, - усмехнулся Левашов. - Сколько жизнь ни учила, все равно не выходит. Натрепался мне тут один, что немцы к Вязьме прорвались. Думал - а вдруг вы чего-нибудь знаете.

- Ровно ничего не знаю.

- А что думаете?

- Ничего не думаю. Кроме того, что не хочу этому верить, -

сказал Лопатин.

- У вас жена где, не в Москве? - спросил Левашов...

- Нет, не в Москве. В Казани. Во всяком случае, по моим последним сведениям.

- А кто она у вас?

"И в самом деле, кто она у меня?" - внутренне усмехнувшись, подумал Лопатин; ему не хотелось говорить о своей жене с этим, не умевшим кривить душой и располагавшим к ответной откровенности, человеком.

- Работает в театре, по литературной части.

- А фото у вас есть с собой?

- Фото нет. Не вожу, - сказал Лопатин.

- А я бы возил. Но нету, - сказал Левашов. - Когда поженились, снялись вместе. А потом все хотел к фотографу ее сводить, чтобы одну снять. Так до двадцать второго июня и пособирался.

Я почти перед самой войной на ней женился.

В голосе его была нескрываемая тоска. Наступило молчание.

Лопатин продолжал писать. Большая кривобокая тень его перевязанной головы шевелилась на стене.

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать,
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать...

вдруг за спиной у Лопатина нараспев прочел Левашов есенинские строчки, прочел и остановился, словно колеблясь, читать ли дальше. Но читать не стал, а снова, как раньше, на "ты", спросил Лопатина:

- Наверно, тяжело тебе на войне? Сегодня - у этих, завтра - у тех ни ты к людям, ни они к тебе не успевают привыкнуть. Когда все время в одной части - легче. Верно?

- Не думаю, - продолжая писать, сказал Лопатин. Он не мог согласиться с тем, что жизнь Левашова на войне была легче его жизни.

19

Про сообщение Информбюро - что положение под Москвой на Западном фронте ухудшилось - Лопатин узнал еще в Одесском порту, в ту самую ночь с 15 на 16 октября, когда оттуда полным ходом шла эвакуация войск в Севастополь. А приказ о введении в Москве осадного положения застал его в Краснодаре, когда, просидев там трое суток, он в очередной раз вымогал себе место на самолет у оперативного дежурного., В самолет он втерся, но до Москвы в тот же день не долетел; ночевали почему-то в Воронеже. Светлого времени хватало, и погода была приличная, но почему

не дают вылета на Москву никто объяснений не давал. После утреннего известия об осадном положении на душе скребли кошки, и чего только не лезло в голову. Однако на следующий день до Москвы все же долетели.

Москва стояла на месте, опустевшая и малолюдная; улицы были непривычно замусорены рваной и горелой бумагой. Добираясь до редакции, Лопатин заметил лишь несколько разбитых бомбами и выгоревших домов, но самой редакции в знакомом дворе на Малой Дмитровке не обнаружил. Оказывается, она переехала в подвалы эвакуированного Театра Красной Армии. В этих подвалах, неожиданно высоких, выше, чем комнаты в их стареньком редакционном здании, было чисто и светло, даже резало глаза от голого света висевших под потолком стосвечовых ламп. Под трубами, тянувшимися вдоль стен подвалов, стояли знакомые редакционные столы, а между ними, на полу, лежали папки с архивами и подшивки. Столов было много, людей - мало.

- П-привет к-курортникам! Давно ли ты, д-дружок, покинул пределы Крыма? - услышал Лопатин у себя за спиной знакомый голос Бориса Гурского, заики и белобилетчика, заведующего литературным отделом газеты и безымянного автора половины ее передовиц, или, как он сам себя называл - ч-человека н-невидимки.

Их дружба началась два года назад, с первой для них обоих войны - с Халхин-Гола.

Обрадовавшись встрече, Гурский поволок Лопатина за собой, прихватив под мышку крепкой, заросшей рыжим волосом рукой; он вообще был весь рыжий, рыжебровый, рыжеволосый, один из тех огненно-рыжих людей, которых художники любят рисовать на детских картинках.

- Если ты не снедаем ст-трастью немедленно броситься в объятия нашего ред-дактора, пройдем ко мне на к-квартиру и проведем п-пятиминутку взаимной информации.

- А редактор здесь? - спросил Лопатин.

- Здесь. И никуда не исчезнет, пока я не явлюсь к нему с п-передовой, сказал Гурский. - Я кончил ее на десять минут раньше, чем обещал, и вп-праве уп-потребить их на тебя.

Пошли.

Под квартирой Гурский подразумевал небольшой закуток, отделенный от остального подвала стенкой с дверным проемом, но без двери. Здесь, как и всюду, горело электричество, на полу лежали книги и подшивки, стоял письменный стол и рядом с ним аккуратно заправленная койка с подложенным под ноги вчерашним номером газеты.

- Живу, как и все, на к-казарменном. Могу потеснить лит-

тературу, показал Гурский на книги, - и поставить вторую койку для тебя, если не имеешь более выгодных п-предложений.

- Не имею.

- А теперь п-пятиминутка, - сказал Гурский. - Воп-прос первый. Как вы п-покидали город Одессу? Действительно в столь

образцовом порядке, как об этом сообщалось в п-печати? Рассматривай мой вопрос как pen-петицию - редактор начнет с того же.

- А ты знаешь, соответствует, - не кривя душой, ответил Лопатин. Сообщение Информбюро не расходилось с тем, что он видел своими глазами в последний день и последнюю ночь в Одессе.

- Тогда хорошо, - сказал Гурский. - Всегда бы так. Воп-прос второй: нат-терпелся ст-траху?

- Натерпелся. Но не столько в Одессе, сколько в Крыму.

- Д-догадался, прочтя уже в п-полосе остатки твоей крымской корреспонденции. Д-домыслил.

- Скажи лучше, как у вас тут? - спросил Лопатин.

- Сегодня лучше, чем вчера, а вчера - чем позавч-чера. Многие отбыли в восточном нап-правлении, - как по приказу, так и по собственной инициативе. Что касается нас, то ред-дактор отпправил в Казань всех жен и полред-дакции и типографского оборудования - на всякий п-пожарный случай. А мы, как видишь, ост-таемся в Москве, берем пример с т-товарища Сталина.

- Ну, а если совсем серьезно?

- А то, что я говорю тебе, как раз и соответствует понятию:

совсем серьезно. П-повторяю: Сталин в Москве, генштаб, как я п-понимаю, тоже. Зап-падным фронтом командует Жуков. Войска дерутся, как только могут, вчера видел это своими глазами - ездил с ред-дактором по Волоколамскому шоссе, как говорится, до уп-пора. В Москве п-порядок, охотников п-пограбить пускают в расход с правом ап-пелляции на том свете. Газеты выходят. Нем-молодая крашеная дама, которую, как я усп-пел заметить еще до войны, ты не особенно любишь, пришла в ред-дакцию с запиской от т-твоей жены за ключами от т-твоей квартиры. Когда, вручая ключи, я спросил ее про немцев, она дала мне понять, что не соббирается отдавать им ни Москвы, ни т-твоей квартиры. Так как - поставить тебе койку?

- Поставить. А мне писем не приходило?

- Приходили. - Гурский, сдвинув на лоб очки, взглянул на часы, полез в стол, достал оттуда три письма и положил их перед Лопатиным. - Сядь и п-прочти, все равно он не будет разговаривать с тобой, пока не п-покорежит мою передовую. Я скажу ему, что ты здесь.

Гурский вышел, а Лопатин взялся за письма. Одно из них, с круглыми каракулями на конверте, было от жены, а два, надписанные недетским, твердым почерком, - от дочери.

Письма его жены обычно состояли из подробных объяснений поступков, совершенных ею в его отсутствие. Поступки эти, по ее мнению, всегда были правильными, а объяснения их правильности - длинными. В прошлом письме, которое она оставила ему в Москве, объяснялось, почему она уехала вместе с театром в Казань, не дождавшись его возвращения, почему это было правильно и почему, наоборот, было неправильно, что он не написал ей заранее, что так долго задержится на Западном фронте. В нынешнем письме из Казани объяснялось, почему ключи от их квартиры надо было отдать именно этой ее подруге, Геле, которую Лопатин совершенно напрасно не любит.

Письмо жены оставило его равнодушным: кто знает, что бы он почувствовал, если б вместо объяснений про ключи и Гелю от жены пришла повинная в том, что она уехала тогда, в августе, из Москвы, не дождавшись его с фронта, хотя вполне могла бы дождаться. Но ничего похожего на повинную в письме не было, если не считать приписку в три строчки, в которой жена молила его не переживать, что она сама в Казани, а Нина - их дочь - вместе со своей школой в деревне под Горьким; что оттуда от Нины уже пришло несколько открыток и ей там гораздо лучше, чем было бы в Казани.

"Может, и лучше", - думал он, читая сейчас письма дочери из совхоза под Горьким, где она жила с другими школьниками.

Судя по письмам, она была довольна, что они лето работали в деревне, помогали взрослым, а теперь, копая картошку, начали учиться. Может, и с едой у них там лучше, чем в Казани. А все-таки ребенок, даже сытый, не может не чувствовать свою брошенность. Особенно когда в сознании гнездится, что мать, наверно, могла бы взять ее к себе, а уж приехать повидать - во всяком случае.

- Ст-тупай к нему, - сказал вернувшийся Гурский.

- Сдал передовую?

- Пока нет. Вернулся вп-писывать абзац. Говорит, что название "Ребята, не Москва ль за нами?" неп-плохое, но надо поп-подробнее объяснить, что. хотя это и Лермонтов, но тем не менее тогда Москву сд-дали, а сейчас не соб-бираемся.

- А может, он прав?

- А я не говорю, что он не п-прав. Ст-тупай, он ждет.

Кабинет редактора помещался в большой и странной подвальной комнате: окон в ней не было, а стены образовывали неправильную трапецию; но все остальное в этой странной

комнате было привычное: и редакторский стол, и стулья, и конторка у стены, и взятая из старой редакции лампа с зеленым стеклянным абажуром. И редактор стоял за своей конторкой, как всегда уткнув нос в полосы и держа толстый красно-синий карандаш на весу у правого уха, словно прицеливаясь им, в какое место полосы выстрелить.

Как только Лопатин вошел, редактор быстро повернулся, пошел навстречу и, тряся ему руку, с радостным любопытством одновременно оглядывал с ног до головы.

- Хорошо выглядишь, - наконец отпуская руку Лопатина, весело сказал он. - Каким убыл, таким и прибыл. Хоть завтра обратно посылай!

- А может, сегодня? Чего ж - до завтра! - Шутить на такие темы с их редактором было опасно, но Лопатин все же рискнул.

- Нет, правда, хорошо выглядишь, не ожидал! - сказал редактор. - Как прошла эвакуация Одессы? Донесения в генштаб читал. А по личным впечатлениям?

- Веселого, конечно, мало, - сказал Лопатин. - Но, помня, как в начале войны оставляли некоторые города здесь, на Западном, могу оценить то, что видел в Одессе. Есть за что снять шапку и перед армией, и перед флотом.

- Вот и напиши это - про последние дни боев.

- А напечатаешь?

- Напечатаем. В связи с обстановкой под Москвой нужны как раз такие материалы. Когда получил мою телеграмму?

- Смотря какую? Задержаться в Одессе - седьмого.

- Нет, вызов!

- Вызов - семнадцатого в Севастополе. Приморскую армию едва высадили и сразу, без передышки, - к Перекопу. Пришел к Ефимову спросить, в какую из его дивизий посоветует мне ехать, а у него - комиссар штаба с твоей телеграммой об отзыве в Москву. Положил ее Ефимову на стол и покосился на меня.

Обстановка на Перекопе как раз в то утро ухудшилась, - вышло, что бегу от нее.

- А это уж моя забота, - сердито сказал редактор. - Нам газету надо делать, а кто и на что будет коситься - мне наплевать.

И тебе должно быть наплевать.

- Не получилось. Помнишь, как я писал про комиссара полка Левашова, как он после четырех ранений в полку остался? Правда, вы не то в машбюро, не то в наборе две буквы переврали - напечатали: Белашов...

- Ну помню, гонял их потом за эти буквы! А при чем тут он?

- При том, что Ефимов после всех ранений забрал его из полка к себе комиссаром штаба. На него я и нарвался. Он - с

твоей телеграммой - голова и рука забинтованы, а я гляжу на небо, от стыда - хоть под землю!

- А ты о таких вещах поменьше думай. Это, если хочешь знать, твоя слабость - думать, когда не надо, над тем, о чем не надо.

Лопатин вспомнил, как Левашов говорил ему про мысли, которые мешают жить, и улыбнулся неожиданности совпадения.

- Давно засек это в тебе! - не заметив улыбки Лопатина, нравоучительно сказал редактор и прошелся взад и вперед по своей подвальной комнате. - Ну что тут у нас, пока тебя не было? Пятнадцатого всех жен эвакуировали в Казань. Стал проверять список - где же твоя - нету! Оказывается, она у тебя еще с августа в Казани. А я не знал.

Лопатин хотел было сказать, что, пока не вернулся с Западного фронта, он и сам не знал, что жена его уже в Казани, но промолчал. Редактору не понравилось это молчание. Перестав ходить по кабинету, он остановился напротив Лопатина.

- За два с лишним года так и не познакомил меня с нею. Давно хотел спросить - почему?

За этим вопросом была догадка о неблагополучии.

- Не познакомил потому, что не было охоты или времени - на выбор, как тебе больше нравится.

Лопатин сказал это усмехнувшись, но прозвучало все равно горько. Одно из двух - либо бессмыслица прятать жену от людей, с которыми ты подружился за последние годы, либо бессмыслица продолжать жить с нею.

- Вижу, ты не в настроении, - сказал редактор.

- Все наоборот, Матвей, - сказал Лопатин. - Я как раз в настроении. Сегодня, если позволишь, передохну, потом напишу про Одессу и буду в твоем распоряжении на любом из упомянутых сегодня в сводке направлений: хочешь на Можайском, хочешь - на Малоярославецком, хочешь - на Калининском.

- Долго ты добирался от Севастополя, пять суток, - сказал редактор.

- Быстрей не вышло. До Новороссийска добирался на госпитальном судне. В Краснодаре самолетов не было. В Воронеже ночевали.

- С самолетами сейчас туго. И погода все больше портится, тем более на Севере, - странно, невпопад сказал редактор, хотя Лопатин прилетел не с Севера, а, наоборот, с юга.

Оборвав их разговор, вошел Гурский с передовой в руках.

- В самом деле, иди отдыхай, до завтра. Чего я тебя держу на ногах? сказал редактор, быстро переведя взгляд с Лопатина на

Гурского и обратно. - Иди! Выберем время, поговорим...

20

На второй день вечером, когда Лопатин принес свою, продиктованную на машинку корреспонденцию, редактор, прочтя ее, поправил всего две строки, сказал, что это как раз то, что надо, и заслал в набор. Через два часа вызвал Лопатина, чтобы он вычитал текст в полосе, и отправил спать: "Ты свое дело сделал!"

Лопатин, накануне почти до утра проговоривший с Гурским, спать пошел с наслаждением и продрых до полудня. А когда проснулся, Гурского уже не было. Спустив босые ноги на бетонный пол подвала, Лопатин увидел лежавшую у изголовья койки сегодняшнюю газету:

"Вернусь к семнадцати, в знак соболезнования добуду выпить!" - через всю газету наискось синим карандашом написал Гурский.

Увидев это, Лопатин понял, что корреспонденция не пошла, но все-таки развернул газету. Корреспонденции не было, а там, где она стояла, когда он уходил спать, заверстали разную мелочь, без которой можно было и обойтись. Стало быть, не пошла не из-за того, что не хватило места...

Лопатин оделся, побрился, попил в буфете чаю, к которому дали два бутерброда с кильками - на каждом куске по кильке - и леденцы вместо сахара. Ничего больше в буфете не было, спасибо и на том, главное, несмотря на поздний час, титан кипел, и чай был горячий.

Выходя из буфета, Лопатин встретил шедшего ему навстречу Леву Степанова. По должности старший политрук Степанов числился литературным секретарем, а на деле ходил в помощниках редактора. Ухитрившись остаться на этой каверзной должности всеобщим доброхотом и зная изгибы редакторского характера, он в меру сил остерегал забегавших к нему в предбанничек от неверных шагов и опрометчивых предложений.

- А я за вами, - сказал Лева.

- Проснулся? - спросил Лопатин о редакторе.

- Давно. Послал вас будить, а то собирается куда-то уезжать.

Не злитесь, что вашу корреспонденцию снял. Он сам переживает.

Лопатин пожал плечами. Он не злился. Просто глупо вышло.

Глупо потел над ней, глупо устал, глупо радовался, что она будет в газете и ее прочтут те, о ком она написана, - все глупо.

- Очень хорошая она у вас была, - идя рядом с Лопатиным, как об умершей родственнице, сказал Лева Степанов.

Лопатин рассмеялся и вошел к редактору, продолжая улыбаться. Редактор стоял, нахохлившись, над своей конторкой,

одной рукой перелистывая что-то лежавшее там, а другой чесал в затылке - поза, означавшая, что его одолевают сомнения.

- Чему радуешься? - повернувшись и успев поймать на лице Лопатина след улыбки, спросил редактор.

- Радуюсь, что снял мою пробу пера - чему ж еще.

- Ничего смешного, - сказал редактор. - Не от меня зависело.

Лопатин удивленно посмотрел на него: такое из его уст можно было услышать не часто.

- На, возьми на память. Хорошая, одна из лучших, что ты написал за все время, - редактор вынул из ящика под конторкой и протянул Лопатину полосу с непошедшей корреспонденцией.

Привыкнув, что редактор моложе его на семь лет и при своей худобе и молодцеватости выглядит еще моложе, Лопатин удивленно подумал, что, оказывается, люди могут вдруг стариться, не дожив до сорока. Лицо редактора выглядело таким изнуренным, словно он за два месяца, что они не виделись, постарел по крайней мере на пять лет. Вчера и позавчера Лопатину это не бросилось в глаза, а теперь бросилось.

Он сложил полосу и сунул ее в карман бриджей, давая понять, что с его стороны продолжения разговора об этом не будет.

- Готов ехать. Гурский рассказал, как вы были с ним на Волоколамском. Если хочешь - могу туда.

- Туда уже поехали с утра. - Редактор назвал фамилии поехавших на Волоколамское направление. - А насчет тебя - другие планы, но сначала про твой материал: одно с другим связано. Поставить в номер не дали в связи с положением под Москвой: как бы хорошо ни воевали там, в Одессе, но эвакуация есть эвакуация, само слово теперь не ко двору. Упомянули о ней один раз в сообщении РТнформбюро, и все. Сказали, что возвращаться к этому не будем. Л вот Мурманское направление, где мы как были, так, в основном, и остались - на государственной границе, представляет сейчас, по коптрасту, особый интерес для газеты. Тем более есть сведения, что наши разведгруппы и ходят, и высаживаются там на финской и норвежской территориях. Сведения есть, а газета без материала. А он - на фоне боев под Москвой - к месту. Как ты находишь?

- Нахожу, что правильно, но, откровенно говоря, - неохота, - сказал Лопатин. - Предпочел бы остаться здесь. Что, у нас никого другого нет, что ли, кроме меня?

- Фигуровского полмесяца назад контузило в Мурманске при бомбежке. Вывезли в Архангельск, состояние, сообщают, неплохое.

Недели через три выйдет - вернется в Мурманск, а пока

никого нет! Редактор выжидающе смотрел на молчавшего Лопатина. - Ты и в Мурманске бывал, оттуда же вы ходили снимать папанинцев, из Мурманска! - ткнул редактор пальцем в "Знак Почета", привинченный к гимнастерке Лопатина. - И на финской ты был, так что театр тебе знакомый.

На финской войне, положим, Лопатин, как и редактор, был не в Мурманске, а за полтыщи километров от него, на трижды проклятом, самом неудачном Ухтинском направлении, и слова про знакомый "театр" были не при чем. Редактор и сам это знал, а заговаривал зубы, чувствуя себя виноватым перед Лопатиным; понимал его желание остаться здесь, на Западном фронте.

- Сделаешь несколько хороших материалов - отзову в Москву.

- Или наоборот - дашь телеграмму, чтобы сидел и писал дальше, усмехнулся Лопатин, вспомнив, как это было в Одессе.

- Отзову не позже .чем через месяц. - В голосе редактора уже не было прежней виноватости.

- И то хлеб, - сказал Лопатин, ожидая, что будет дальше.

- Самолет пойдет завтра до Архангельска. Летят какие-то моряки, везут из Москвы обратно в Архангельск англичан, но место для тебя обещали. В Архангельске сориентируешься. Моряки сказали, что у них бывают оттуда самолеты на Мурманск. В Архангельске зайди навести Фигуровского, кое-чего соберем - пошлем ему с тобой. Если сам не успеешь - сразу пересядешь с самолета на самолет, - найди способ передать.

- Значит, до завтра, как понимаю, свободен и могу заняться личной жизнью? - сказал Лопатин.

- Какая у тебя может быть личная жизнь, раз жена уехала?

- А она квартиру беречь подругу оставила. После обеда пойду к ней. Лопатин мельком усмехнулся, вспомнив эту подругу жены. - Пойду к ее подруге, - продолжал он, забавляясь выражением лица редактора, - заберу у нее свои валенки, если она их еще не пропила или не обменяла на картошку. Мурманск все же за Полярным кругом, валенки хорошие, а ты человек ненадежный, еще продержишь там до весны.

- Обещал - отзову, значит, отзову, - сказал редактор с неожиданным для Лопатина раздражением - так, словно на нем не оставалось живого места, словно он перестал понимахь шутки.

- Что, здорово досталось за этот мой материал об эвакуации Одессы? спросил Лопатин, поглядев ему в глаза.

- Допустим, досталось. Что дальше?

- Ничего, - сказал Лопатин. - После того как схожу за валенками, явлюсь к тебе за предписанием.

К себе домой Лопатин позвонил сразу же, как вышел от редактора. Ему нужны были там не только валенки, и было бы

глупо наткнуться на запертую квартиру.

Телефон работал. По нему после первого же гудка ответил слишком хорошо знакомый Лопатину за последние пять лет жизни с женой низкий, хриплый голос Гели, а если по-христиански - Ангелины Георгиевны.

- Здравствуйте. Я приехал в Москву, - не называя ее ни так, ни эдак ни Гелей, ни Ангелиной Георгиевной, сказал Лопатин. - Я зайду сегодня вечером, так что посидите дома, отложите свою светскую жизнь до другого раза.

- Так и быть, отложу. В подъезде темно, возьмите с собой спички, впрочем, вы курите.

Она первой положила трубку.

Домой Лопатин пошел позже, чем думал, потому что Гурский выполнил утреннее обещание и принес в редакцию начатую, заткнутую бумажной пробкой, бутылку с водкой Тархун. Она скверно пахла и была на десять градусов слабее обычной.

Закусывая густо посоленными черными сухарями, они распили ее до конца и, если бы Гурского не вызвали к редактору, засиделись бы еще дольше, обсуждая предстоящую командировку.

Гурский осуждал Лопатина за то, что не уперся, сейчас, когда немцы в ста километрах от Москвы, имел полное моральное право упереться.

Лопатин не спорил, слушал. Раз не уперся, значит, не уперся. Запоздало сожалеть и о сделанном, и о несделанном было не в его натуре.

- Все-таки опять загнал тебя к черту на к-кулички, - сказал Гурский, поднимаясь, чтобы идти к редактору. - Что любит тебя - не сп-порю, но, как сказал поэт, ст-транной любовью.

От Театра Красной Армии до своего дома на улице Горького Лопатин шел почти час. Было и темно, и восемь раз счетом - на всех поворотах и перекрестках - останавливали и проверяли документы патрули.

По лестнице он поднимался на ощупь: папиросы взял, а спички, как назло, забыл, переложил в полученный для поездки в Мурманск полушубок, а пошел домой в шинели.

- Кто это? - спросил за дверью голос Гели.

- Я.

- Кто - вы?

- Ну я, Лопатин! Кто - я? Кто еще может быть? Что вас тут уже грабили, что ли? - спросил он, когда она впустила его в квартиру.

- Меня пока нет, а других грабили, - сказала Геля.

В передней было полутемно. Слабый свет падал из приоткрытой двери в комнату.

- Лимит! Перерасходуем - выключат, - сказала Геля. -

Пойдемте сядем. Не раздевайтесь: не топят и неизвестно, будут ли.

Лопатин, не снимая шинели, прошел вслед за ней в маленькую комнату, где раньше жила дочь.

Они с Гелей сели друг против друга за стол под слабенькой шестнадцатисвечовой лампой. Абажур был не снят, а подтянут по проводу под потолок и подвязан там бечевкой. Оба сидели за столом одетые - Лопатин в шинели, а Геля - в старом зимнем суконном, на ватине, пальто его жены - не то не взятом с собой в Казань, не то подаренном Геле. Жена любила покупать себе новое, а старое, пока оно еще не выглядело старым, дарить тем из своих подруг, кто, по ее мнению, этого заслуживал; последние пять лет Геле.

С минуту сидели молча, потом Геля сказала, что она прочла в газете несколько его очерков с юга и, когда читала про подводную лодку, подумала, что это, наверное, было страшней всего. Он не считал, что это было страшней всего, но не хотел говорить с ней о себе и своих очерках и, вынув папиросы, молча протянул ей.

Пока они курили, она докладывала ему о Ксении, все время называя ее Сюней - вошедшим у них между собой в обиход кошачьим именем, которого он терпеть не мог. Рассказывала, как Сюня срочно уезжала вместе с театром и как огорчалась, что не увидит его, Лопатина, и как еще тогда, в августе, просила, если Лопатина долго не будет, постеречь их квартиру, а потом написала, чтобы она взяла ключи и жила у них. И она согласилась, потому что своей комнаты, где ей нечего стеречь, она не любит, и не все ли равно, где жить человеку, который все равно никому не нужен.

Лопатин, слушая все это, смотрел на нее и после всего, что успел пережить на войне, впервые стыдился своего мелочного раздражения против этой немолодой, крашеной женщины, вся вина которой - в том, что она присосалась к его жене, а точней, в том, что его жена присосала ее к себе и она, пять лет торча у них в доме и наблюдая их неурядицы, поддакивала его жене. Такое - почти всегда не от хорошей жизни, и в начале ее, наверное, закопано какое-то собственное несчастье. И, не околачивайся эта женщина в их доме, наверное, он бы просто-напросто жалел ее, не испытывая к ней того недоброго чувства, которое с трудом подавлял в себе и сейчас. Мысленно старался настроить себя на миролюбивый лад, но раздражение от ее присутствия все равно оставалось при нем, может быть, еще и потому, что они сидели в комнате, которая была комнатой его дочери, а эта, сидевшая напротив него, женщина, по долгу своей приживалочьей службы у его жены, рассказывала ему, как они провожали его дочь, и как

все это было правильно, и как, наоборот, все было бы неправильно и трудно для Сюни, если бы она не решилась тогда отправить дочь вместе со школой...

- Вот что, - Лопатин прервал Гелю посредине фразы. - Вы не знаете, где мои валенки? Мне нужны валенки.

- В чемодане. Сюня попросила меня сложить зимние вещи, я сложила и пересыпала их нафталином, там и ваши валенки.

- Пожалуйста, достаньте их, если вам нетрудно.

- Сейчас достану.

- А я пока пройду к себе в комнату. Там есть свет?

- Вывинтите лампочку отсюда и ввинтите туда: есть только две лампочки одна тут, а другая на кухне.

- Ну, вывинчу, а вы? - спросил Лопатин.

- А я зажгу лампочку на кухне, чемодан стоит там.

Она ушла на кухню, а Лопатин, вывинтив лампочку и на ощупь пройдя к себе в кабинет, ввинтил ее в стоявшую на столе черную пластмассовую настольную лампу, которые только что появились в магазинах в тридцать восьмом году, когда они вдруг получили эту квартиру. Его жена подарила ему эту лампу на новоселье. Теперь при свете он увидел, что в кабинете, оказывается, была застелена его тахта.

Он сел за стол и выдвинул в нем два левых нижних ящика.

В них лежало то, о чем он думал и в редакции, и по дороге сюда, то, с чем теперь, когда немцы так близко от Москвы, наверно, надо что-то сделать сегодня же. Если вообще - надо.

В этих двух ящиках было сложено все, что было начато и не кончено или записано впрок, на будущее, - начало романа, который на пятой главе прервала война, сделанные на Халхин-Голе заметки, про которые раньше считалось, что они непременно пригодятся для этого романа, и разное другое, про что он привык считать, что оно еще понадобится.

Несколько минут просидев за столом, в сомнении глядя на эти два ящика, набитые исписанной им в разное время бумагой, он со злостью задвинул их обратно. "Нашел о чем думать - понадобятся ие понадобятся, допишу не допишу!" Все это было нелепо и неважно рядом с той мыслью, которая заставила его выдвигать эти ящики и разглядывать их содержимое: "А вдруг, пока ты будешь там, в Мурманске, немцы окажутся здесь, в Москве?"

Мысль эта была настолько простая и настолько страшная, что, раз она против воли все равно сидела в затылке, было нелепо заботиться об этих ящиках. Какое все это могло иметь значение, если допустить, что простая и страшная, сидящая в затылке мысль может превратиться в действительность?

Выдвинув еще один ящик, он достал из него то, что ему в самом деле было нужно, - взял из довоенного запаса черных клеенчатых общих тетрадей две, которых должно было хватить на поездку в Мурманск, потом, поколебавшись, прихватил еще шесть - пусть лучше полежат в редакции. А когда встал, в дверях за его спиной уже стояла Геля с валенками под мышкой.

- Сюня написала мне, - она кивнула на тахту, - чтоб я о вас заботилась, если вы, приехав, захотите здесь жить.

- Спасибо, у нас казарменное положение. - Он взял у нее из рук валенки и, скрутив тетради, сунул их внутрь - по четыре в каждый.

- Если не секрет, вы куда-то опять едете?

Оп сначала не хотел говорить ей про свой отъезд в Мурманск, но все-таки сказал.

- Я напишу об этом Сюне, - сказала Геля. - А может быть, вы сами напишете?

- Может, и сам напишу, - сказал он, не уверенный в том, что это сделает. Увидеть свою жену сейчас здес., в этой, его, или в той, ее, комнате, он бы хотел и знал, что хочет этого. А захочет ли ей писать туда, в Казань, был неуверен. - Может, и напишу, - повторил он и, взяв валенки под мышку и надев фуражку, простился с Гелей и вышел, слыша, как там, сзади, за дверью, она щелкает ключом и громко задвигает какую-то щеколду, которой раньше у них не было.

Поставив на пол валенки, чтоб застегнуть шинель, он услышал шаги спускавшегося сверху по лестнице человека и увидел пламя зажженной спички.

- Простите, вы из этой квартиры вышли? - спросил мужежой голос.

- Из этой. А что? - Лопатин при свете спички вглядывался в говорившего. Фуражка, шинель, но что на петлицах, не успел разобрать - спичка догорела.

- Извините, сейчас зажгу. - Говоривший зажег еще одну спичку, и Лопатин увидел теперь и лицо - очень молодое и очень внимательное, даже напряженное, - и кубики младшего лейтенанта на петлицах шинели. Извините, товарищ майор, это ваша табличка на двери, это вы Лопатин?

- Да, моя табличка, я Лопатин.

Младший лейтенант зашуршал спичками, кажется, хотел достать и зажечь еще одну, но Лопатин остановил его:

- Не чиркайте. Если вас что-то интересует, спустимся на улицу.

- Товарищ майор, лучше здесь, - попросил лейтенант, когда они спустились на следующую площадку, - меня внизу ждут, я

там не хочу.

- А что вы хотите? - останавливаясь, спросил Лопатин.

- Да ничего я не хочу, - неожиданно сказал лейтенант. - Просто едем через Москву на фронт и удалось с вокзала - сюда.

Я раньше, до тридцать седьмого года, жил в этой квартире, где вы.

Посмотрел дощечку, кто здесь теперь? Оказывается, вы.

- К несчастью, я. Живу в ней по ордеру с мая тридцать восьмого года, сказал Лопатин и, вспомнив, как все это было тогда, добавил: - На всякий случай, хочу, чтоб знали: дверь распечатали при мне, и было там, внутри, хоть шаром покати.

- Я так и думал, - сказал лейтенант. - А меня в то лето, в тридцать седьмом, послали на школьные каникулы гостить к маминой сестре, во Фрунзе. Я не хотел, но отец велел ехать. Так и остался там, с седьмого класса. В этом году, когда подал заявление, - на фронт, - сначала не взяли. А потом зачислили на курсы младших лейтенантов: республиканский военный комиссар служил в гражданскую у отца командиром роты.

- А чего вы сейчас выше этажом ходили? - спросил Лопатин. - Вы ведь сверху спустились.

- Хотел узнать - таи над нами еще жили... Стучал, стучал - не достучался. Что они, тоже?..

- Нет, - сказал Лопатин. - Семья в эвакуации, он - на фронте. В данном случае - лучше, чем вы думали. Кто вас ждет внизу?

- Тоже москвич, младший лейтенант. Нас вместе до двадцати трех часов уволили.

- И ночной пропуск дали?

- Дали. Командир полка у коменданта вокзала добился.

"Да, видимо, хороший у тебя командир полка", - молча пожимая на прощанье руку лейтенанта, подумал Лопатин.

Перед подъездом топталась долговязая фигура в шинели.

Младшие лейтенанты уже ушли, спеша на метро, а Лонатин все еще не мог сдвинуться с места, и в ушах у него мучительно стояло "Это ваша табличка на двери? Это вы Лопатин?.."

21

Телеграмма от редактора - возвращаться из Мурманска в Москву - и правда, пришла ровно через месяц, на другой день после сообщения Информбюро, где кроме Волоколамского и Тульского направлений впервые появилось еще и Клинское. Это значило, что немцы обходят Москву уже и с севера.

На смену Лопатину так никто и не появился. Как видно, после тех пяти очерков, которые он передал по военному проводу из Мурманска, он стал нужнее в Москве, чем тут. Был соблазн сразу же, глядя на ночь, выехать в Беломорск, в штаб Карельского

фронта, и оттуда добираться до Москвы как получится - самолетом или поездом, по выстроенной перед самой войной ветке через Обозерскую на Вологду. Но оставалось мешавшее этому, не доведенное до конца, дело. Лопатин попросился у морских разведчиков сходить с ними в одну из их операций. Попросился сразу, как приехал, считая, что раз уж его загнали сюда во время боев под Москвой - то как раз для этого. Но морское начальство три недели не давало добро, потом что-то заело с погодой, операцию переносили со дня на день и лишь сегодня утром твердо сказали, что вечером пойдут.

Лопатин представил себе, как он придет к морским разведчикам и, показав им телеграмму редактора, стыдясь, пробормочет что-нибудь из того, что принято в таких случаях. И, отбросив эту мысль, в назначенное время прибыл в назначенное место.

Построенные на пирсе разведчики последний раз осматривали свое снаряжение, радист проверял на слышимость рацию. В морозном тумане несколько раз слабо пискнули позывные, и белые маскхалаты один за другим, как в преисподнюю, стали проваливаться со стенки пирса.

Внизу на мелкой волне тихо шлепал морской охотник - маленькое, но крепко сбитое суденышко. В ночь эвакуации Одессы такие же, как этот, морские охотники вместе с быстроходными катерами самыми последними покидали горящий порт.

Заместитель начальника морской разведки, майор Рындин, и командир диверсионной группы капитан-лейтенант Иноземцев спустились на охотник позже всех - один впереди, другой - позади Лопатина.

Охотник отвалил и пошел к выходу из Кольского залива. Волна понемногу прибавлялась. Разведчики и Иноземцев пошли вниз, в кубрик, а Лопатин с Рындиным остались на палубе.

- А верно, чудное чувство, когда перед операцией сдаешь на храпение партбилет? - спросил Рыдин с такой уверенностью, что оба они коммунисты, что Лопатину пришлось сделать некоторое усилие над собой, объясняя, что он беспартийный.

- А чего же это вы? - брякнул Рындин с той грубой откровенностью, к которой Лопатин уже привык за время их встреч. - Не приняли, что ли? Социальное происхождение подвело, да?

Лопатин сказал, что нет, социальное происхождение его не подводило, а просто как-то так уж вышло: в молодости пе вступил, а потом, с годами, привык к тому, что беспартийный.

- Так я вам и поверил! Просто ваша литературная среда,

богема заела! сказал Рындин. - Но теперь-то вы наш, военный.

Походите с нами, ребята вам сразу рекомендации дадут. Жалко, я уезжаю!

- Ну, это вы, положим, врете, - сказал Лопатин.

Рындин вылупил глаза - так, словно его обокрали, употребив его собственный излюбленный оборот речи.

- А разве нет? - сказал Лопатин. - Нисколько вам не жаль, что вы уезжаете! Сами же вчера в меня весь вечер внедряли, как рады, что ваш рапорт удовлетворен.

Речь шла об одном из тех рапортов, которые кто только не подавал тут, в Заполярье, - о переводе на Западный фронт, под Москву. Из офицеров морской разведки тоже чуть не половина подала рапорты о переводе в бригады морской пехоты. Но пока что согласие дали одному Рындину - то ли потому, что он коренной москвич и нажал на это в своем рапорте, то ли ему, как всегда, повезло.

- Все верно. Соврал. Рад! - сказал Рындин. - Тем более что напоследок успеваю сходить еще и в эту операцию. Вчера считал, что уже не успею.

- А погода, по-моему, сегодня даже хуже, чем вчера, - оторвав руку от поручня, чтобы вытереть лицо, и чуть не вылетев за борт, сказал Лопатин. Ему хотелось узнать, почему их четыре дня подряд не выпускали из-за погоды, а сегодня вдруг выпустили. Каждое утро он сдавал в сейф свои документы, а вечером брал обратно. Хочешь не хочешь, а такие ежедневные "туда-сюда" трепали нервы.

- Да разве в погоде было дело, - рассмеялся Рындин. - Это вам травили, для порядка. Добро не из-за погоды не давали, а потому, что агентурная не подтверждала смены гарнизона. А сегодня подтвердила. Там, на мысу, у них батарея с ротой прикрытия. Агентурная сообщила, что вчера они все вывели, кроме патрулей. Вот и ловим момент, пока смена не пришла. Застать там сто человек или десять - большая разница.

"Черт бы вас драл, - подумал Лопатин. - Или бы не брали, или бы говорили все как есть".

Рындин почувствовал его досаду. Он вообще был странный человек - этот Рындин: то чурбан чурбаном, а то сверхчуткая мембрана.

- Я уже шумел про вас начальству, - сказал он, приблизив к Лопатину свое толстое мокрое лицо и круглым жестом, как кошка лапой, стирая с него брызги. - Зачем морочите голову? Введите в курс дела. Но разве он послушает?

Речь шла о начальнике морской разведки, капитане первого ранга Сидорине - человеке спокойном, вежливом и до такой

степени застегнутом на все пуговицы морских уставов, что шуметь в его присутствии было все равно что кричать в церкви. Даже Рындин, умеряя босяцкий характер, говорил при нем в пол своего голоса, то есть как все остальные люди.

- Он у нас сам себя на ночь запечатывает, - перебарывая крепчавший ветер, крикнул Рындин в самое ухо Лопатину. - А вы хотите, чтоб он заранее всю подноготную! Тем более вы, оказывается, беспартийный. А почему вы беспартийный? Можете мне объяснить без разных ваших интеллигентских штучек? Как-никак на диверсию идем.

- А чего вы ко мне пристали? - сказал Лопатин. - Когда будете мне рекомендацию писать, тогда и расскажу без интеллигентских штучек. А пока обойдетесь.

Рындин расхохотался. Он любил, когда ему давали отпор. Не обиделся и сейчас.

- Вижу, вы в хорошем настроении, - с удовольствием глядя на его веселую круглую рожу, сказал Лопатин, вернее, крикнул.

Ветер был такой, что не кричать было нельзя.

- В замечательном, - весело заорал Рындин и попробовал заголосить одну из своих фальшивых арий, но волна влепила ему в открытый рот пол-литра воды, и он долго отплевывался, хохоча и ругаясь. Потом перегнулся над поручнем и хрипло, так, что Лопатин еле расслышал, сказал: - Ступайте в кубрик. Сейчас будет паршивая картина.

Лопатин не сразу понял, почему он должен уходить.

- Идите от меня к черту. Совесть у вас есть? - крикнул Рындин и сломался пополам над поручнем. Его рвало.

Лопатин спустился в кубрик морского охотника, до отказа забитый людьми.

Когда в такой тесный кораблик влезает сверх комплекта еще двадцать человек, как их ни рассовывай, ступить все равно некуда.

Иноземцев сидел на краешке скамейки, держа на коленях маленькую походную доску с втыкающимися фигурками, и сам с собой играл в шахматы. Лопатин уже не раз видел до этого Иноземцева, но все никак не мог привыкнуть к его лицу: месяц назад ему в рукопашной схватке прострелили из парабеллума нос. Пуля прошла навылет, и по сторонам носа у него было два темных круглых пятна.

Разведчики потеснились и очистили Лопатину место рядом с капитан-лейтенантом.

- Как там майор береговой службы? - спросил Иноземцев, подняв на Лопатина свои глубокие угрюмые глаза. - Уже травит или пока обошлось?

Он, как успел заметить Лопатин, недолюбливал Рындина, а сегодня вдобавок был недоволен, что тот - уже одной ногой в Москве - навязался идти в операцию.

Рындин, хотя и любил говорить о себе, что он моряк, на самом деле никогда не принадлежал к плавсоставу и бессильно злился, когда Иноземцев, подчеркивая это, называл его по всей форме - товарищ майор береговой службы.

Иноземцев, наоборот, как Лопатин узнал не от него, а от других, всегда плавал. А в разведку попал три месяца назад. Его подводную лодку в первые дни войны забросали глубинными бомбами, и он, единственный из всего экипажа, вернулся с того света и месяц лежал в госпитале, синий, как покойник. Новой лодки ему не дали - не было, и он пошел в морскую разведку, специализируясь на диверсиях и проводя их одну за другой с жестокостью, редкой даже среди разведчиков. На этой почве они,

кажется, впервые и схлестнулись с Рындиным во время одной из операций - брать или не брать с собой пленных? Иноземцев командовал этой диверсионной группой, но Рындин был старшим, и последнее слово осталось за ним. С тех пор Иноземцев не любил ходить с ним в операции. Так говорили Лопатину, и это было похоже на правду.

- Как, сыграем? - спросил Лопатин.

- Не хочу. Скучно! - сказал Иноземцев. - Все равно выиграете. Думаете, я забыл, как вы меня шесть раз обставили в первый день знакомства?

- А я дам вам фору.

- А я фору не возьму у самого господа бога, - сказал Иноземцев и вдруг спросил: - Не укачиваетесь?

- Пока что нет, - сказал Лопатин, не став добавлять, что за свою жизнь довольно много плавал, в том числе и здесь, на севере.

- Рындина, если больше трех баллов, выворачивает, как барышню, - сказал Иноземцев. - Будь я на его месте, давно бы не выдержал, пошел в пехоту.

- Вот он и пошел, - пошутил Лопатин.

Но Иноземцев шутки не принял:

- Откуда вы взяли? Вовсе он не поэтому!

Оказывается, капитан-лейтенант Иноземцев был справедлив.

Справедливость начинается с готовности отдать должное тем, кого не любим.

- А вы чего пошли с нами? - спросил он Лопатина, после того как новая волна два раза - туда и сюда - повалила их друг на друга.

Рындина забавляло, что с ним идет в операцию корреспондент.

А этого, кажется, раздражало.

- Получил такое приказание от редактора, - не вдаваясь в подробности, ответил Лопатин.

- Тогда другое дело, - сказал Иноземцев, и Лопатин понял, что капитан-лейтенант удовлетворен его объяснением и теперь будет лучше относиться к нему.

- Сколько нам еще ходу?

- При такой волне до места еще часа три с половиной, - подумав, сказал Иноземцев. - Но мы высадимся на пятнадцать километров дальше нашей точки. Под самым носом у них нельзя. Считайте, четыре часа до высадки, а потом пятнадцать километров пешком. Сколько вам лет? - За этим вопросом было подозрение - не станет ли он, Лопатин, для них обузой, пока они будут идти эти пятнадцать километров пешком.

- Сорок пять, а что?

- В сентябре с нами в операцию ходил один политрук из газеты, но, правда, молодой.

Замечание следовало понимать так, что могли бы найти и помоложе его, Лопатина.

Лопатин ответил, что политрук был из другой газеты, а от "Красной звезды" он сейчас здесь один, и это деловое объяснение, кажется, вновь удовлетворило Иноземцева, как и предыдущее - про приказ редактора.

- Оружием владеете? - спросил он.

- Стрелять, если надо, умею.

- А как с гранатами?

Рындин перед самой отправкой всучил Лопатину две гранаты"лимонки".

- Только теоретически.

- Теоретически - это мало! - без насмешки сказал Иноземцев и потряс за плечо прикорнувшего на полу старшину разведчиков, белокурого парня, сонно дышавшего розовыми детскими губами.

- Чехонин! Возьмите у товарища интенданта второго ранга две гранаты.

"Да, этот все знает, - усмехнувшись над собой, подумал об Иноземцеве Лопатин. - И то, что я беспартийный, и поэтому, значит, не батальонный комиссар, а именно интендант второго ранга, и то, что я рад развязаться с моими гранатами и, стало быть, излишне спрашивать моего согласия".

Чехонин, не вставая с полу, взял у Лопатина из рук в руки гранаты и на бечевках подвязал их к поясу рядом с четырьмя, уже висевшими там. Пересев на полу поудобней, он прислонился головой к коленке Лопатина и снова заснул. Шапка свалилась с его головы, и Лопатин невольно залюбовался на его золотые есенинские кудри. Этот синеокий парень вообще был чем-то похож на Есенина, такого, каким застал его Лопатин, впервые приехав в Москву.

Лопатин не часто думал на войне о своем возрасте, а сейчас подумал. Этому прислонившемуся к его коленям парню было самое большее двадцать два, а спящий, он казался еще моложе. "Женись я раньше и иначе, у меня уже мог быть такой сын", - подумал о себе Лопатин. И спросил у Иноземцева:

- А вам сколько - тридцать три?

Иноземцев кивнул.

- И двое детей, да? - Лопатин имел привычку спрашивать вот так, утвердительно, и часто угадывал.

- Двое. Вам что, всю анкету заполнить или только семейное положение?

- Я же вам заполнял?

- Положим, так, - Иноземцев поднялся. - Схожу посмотрю на погоду! Чехонин, пропустите!

Перешагивая через спящих, он дошел до трапа и исчез, а поднявшийся, чтобы пропустить его, Чехонин, попросив разрешения, сел рядом с Лопатиным.

- Вы, товарищ майор, товарищу капитан-лейтенанту больше про его детей не говорите.

- А что с ними, погибли? - Лопатин с досадой подумал, что без нужды, просто так, взял и ковырнул в чужой ране.

- Нет, в Сибири. Пока он в госпитале лежал, его жена их к своей матери отправила. А сама с ним осталась: пошла санитаркой в госпиталь. А он теперь гонит ее к детям, а она не едет, хочет быть здесь, при нем. Каждый раз, как с операции приходим, ждет капитан-лейтенанта на пирсе. Она к нему, а он ей: "Еще не уехала?.." И мимо... Не может ей простить, что она к детям не едет. Характер на характер. Придем с операции - увидите.

- Красивая?

- Не знаю, не заглядывался, - строго ответил Чехонин.

Через час Рындин вызвал Лопатина наверх. Взошла луна, и качка заметно уменьшилась.

- Кто ее звал, какого хрена она явилась? - мотнул Рындин головой в сторону луны: за шуткой чувствовалась тревога - светлая ночь не благоприятствовала операции.

Было так светло, что Лопатин хорошо видел лица обоих - и Рындина и Иноземцева. Рындина, наверно, за это время выворотило наизнанку. Его толстое лицо стало таким белым, что густые сросшиеся брови казались нарисованными. Иноземцев хмуро сосал трубку, зажав ее ладонью, чтобы не попадали брызги.

Лопатину показалось, что они перед его приходом объяснялись.

- Вот чудак, - кивнув на Иноземцева, сказал Рындин. - Настаивал, чтобы, пока он операцию проводит, я на охотнике в море болтался, прикрывал его.

- И что я тебе за прикрытие? - повернулся он к Иноземцеву. - Пушка на охотнике все равно одна, второй у меня в кармане нет!

Иноземцев упорно молчал, явно не одобряя, что Рындии впутывает в их разговор третьего лишнего.

Но Рындин гнул свое:

- В самом деле, совесть у тебя есть - предлагать мне, чтобы ты воевал, а я при сем присутствовал?

- Я изложил вам свое мнение, - не принимая товарищеского тона, сказал Иноземцев. - Ваше дело приказывать!

- А что еще приказывать? Как сказал, так и будет! - обрубил Рындин.

- Скоро подходим. Разрешите идти готовить людей? - сухо спросил Иноземцев.

- Идите.

Оставшись вдвоем с Лопатиным, Рындин разоткровенничался:

- Видали, что за человек? Хоть бы сообразил, что я в свою последнюю операцию иду, настроения бы не портил! - Он даже сплюнул за борт от обиды. - Себя самого считает природным разведчиком, а если я воюю без постной рожи, со смехом и с песней во весь голос, значит, я уже не разведчик, просто мне везет, что цел! А операций, между прочим, мы с ним провели так на так - по двенадцати. И сегодня и у него и у меня - чертова дюжина.

- А я, назло приметам, считаю число тринадцать как раз счастливым, сказал Лопатин.

- А я об этом даже и не думаю, - рассмеялся Рындин. - Счастливое число - вообще дурость! Счастливый человек - другое дело... Вот вы, например, счастливый человек. Сегодня здесь, на Ледовитом, а какой-нибудь месяц назад были на Черном, в Одессе!

Лопатин ответил, что видеть эвакуацию Одессы было не такое уж счастье.

- Но ведь эвакуация-то прошла на ять! По крайней мере, судя по тому, что вы нам сами рассказывали при первой встрече.

Или тогда наврали, а теперь совесть зазрила?

- А вы полегче на поворотах! - сердито сказал Лопатин. - Все, что рассказал вам тогда, могу повторить и сейчас, слово в слово. По счастливым человеком себя не чувствовал. Ни дураком, ни уродом не был.

Удивленный этой вспышкой Рындин, не найдясь, что ответить, схватился за свой здоровенный бинокль и сделал вид, что он что-то разглядывает в море, хотя разглядывать, кажется, было нечего, а Лопатин, отвернувшись от него и глядя в летевшую по борту воду, снова, в который раз, вспомнил ту свою последнюю одесскую ночь, когда уходили в Севастополь.

Немцы запоздало бомбили опустевшую гавань, горели пакгаузы. Катера грузились при мерцающем дымном свете пожаров. Начальник одесской морской базы, высокий хладнокровный бородатый моряк, неторопливо постукивая каблуками по бетонному пирсу, подошел к иронически наблюдавшему за бестолковой бомбежкой генералу Ефимову и небрежно бросил руку к козырьку:

- Товарищ командующий, разрешите пригласить вас перекусить...

- Пошли! - Ефимов широким жестом захватил всех, оказавшихся рядом, и первым вошел в стоявший тут же, у пирса, опустевший домик командного пункта. Там, внутри, не было ровно ничего, кроме накрытого белоснежной скатертью стола с бутылками и бутербродами. Стол стоял, как вызов судьбе и немцам. Все, не садясь, выпили по стакану вина, глядя в красные от пожара окна. И Ефимов и моряк понимали, что этот их последний не то ужин, не то завтрак на пирсе - щегольство и даже мальчишество, но в то же время он - и последняя их молчаливая пощечина врагу, только сейчас, с опозданием на сутки, опасливо подходившему к окраинам вымершего города.

Дожевав бутерброды, все спустились по трапу на плясавший под ногами катер. У Ефимова были тяжелые, свинцовые от усталости глаза. Вспышка озорства прошла. Впереди был Севастополь, а позади - два месяца боев по колено в крови и все-таки, несмотря на всю эту кровь, оставленная Одесса...

- Так-то, товарищ корреспондент, - сказал Ефимов, невесело глядя в глаза Лопатину своими свинцовыми глазами. И отсвет пожара на миг сделал их кровавыми...

Нет, какое уж туг счастье! Просто люди делали все, что могли.

Такое чувство действительно было. Но под ним - горечь, залитая в душу по самую пробку.

Лопатин так долго молчал, что Рындин, наверное решив, что он обиделся, подошел, положил ему руку на плечо и сказал, что насчет вранья он пошутил, хотя с кем не бывает - и разведчик иной раз наврет как сивый мерин, и у писателей не без этого.

Лопатин кивнул и объяснил, что вспомнил про Одессу и задумался, поэтому и молчал.

Рындин, забыв свою тяжелую руку на плече у Лопатина, глубоко вздохнул:

- Жалко ребят! - Ребятами он называл всех хороших, по его мнению, людей - от солдата до генерала. - Как они теперь там, в Севастополе? Из осады в осаду! И когда вы их еще увидите...

Вот и я, - он еще раз вздохнул, - сам напросился под Москву, а сегодня стою всю дорогу, травлю за борт и думаю: прощай, Заполярье, прощайте, дружки-разведчики, прощай, подводная холера - капитан-лейтенант Иноземцев. Со всеми ругался, а всех жалко!

И никакое Информбюро не скажет, когда вас снова увижу... Фронтто какой! Махина! - воскликнул он, наконец освободив плечо Лопатина и широко раскинув руки. - Отсюда до

Севастополя! И людей на нем - нет числа, и умирают каждый день многие тысячи...

А мы тут, как песчинки. Лазаем в разведки из-за какого-нибудь мостика или трех пушчонок и радуемся, словно золотое яичко снесли... А кто умрет завтра, а кто в еам:ый последний день - не нам выбирать. А кто доживет до конца - с того чарка! Так, что ли, товарищ Лопатин?

Спросил и, словно устыдясь своей растроганности, во всю глотку гаркнул на луну:

- Ну что ты прямо, как фара, в глаза лепишь!

Море и небо сейчас, при свете луны, были почти одного и того же густого, ровного серого цвета, и только на горизонте, где смыкались два их серых полотнища, появилась чуть заметная пятнистая чернота.

- Что это? - показал на нее Лопатин.

- То самое, куда идем, Норвегия.

Судя по всему, дело шло к высадке. Палуба заполнилась белыми фигурами разведчиков.

"Теперь уже скоро", - подумал Лопатин, и мысль, что через пятнадцать или двадцать минут он сойдет на землю, где нет наших, а есть только немцы, смутила его своей непривычностью.

Иноземцев поднялся на палубу последним и сразу подошел к Рындину. Отойдя в сторону, они поговорили о чем-то, и Рындин подозвал Лопатина:

- Может, останетесь на охотнике, больно уж ночь светлая?

Лопатину захотелось сказать "да", но он сказал "нет", понимая, что Рындин ничего другого и не ждет, а свой вопрос задал по настоянию Иноземцева.

- Ну, что я тебе говорил? - отойдя от Лопатина, сказал он Иноземцеву таким громким шепотом, что его мог не услышать только глухой.

У берега было мелководье и камни, охотник не смог подойти вплотную сходней не хватило, их нарастили досками, и двое краснофлотцев из команды влезли в ледяную воду и страховали перебегавших по доскам разведчиков, чтобы они выбрались на берег сухими.

Но Лопатин все-таки ухитрился окунуть в воду одну полу маскхалата. Она скоро замерзла и гремела на ходу, как жестяная, все пятнадцать километров, что они шли пешком по берегу.

И этот звук, казавшийся самому Лопатину неправдоподобно громким и отовсюду слышным, вспоминался ему потом, пожалуй, чаще, чем все остальное, происходившее с ним в ту ночь.

22

Когда морской охотник, взяв обратно на борт разведчиков,

возвращался в Полярное, зарево подожженных немецких складов и взрывы боеприпасов провожали его еще целый час. Потом стало тихо.

Под утро, когда уже были в своих водах, огибая с севера Рыбачий полуостров, качка совсем прекратилась. Рындина больше не травило, но он был в дурном настроении - злился, что его последняя диверсия обошлась без боя с немцами.

- Видите, - сказал он, подойдя к Лопатину, - шутил про чертову дюжину, а на поверку так оно и вышло - плюнуть и растереть!

Он сердито сплюнул за борт:

- Разве я об этом мечтал, когда шел?

Теперь, когда возвращались, Лопатину, тоже задним числом, начинало казаться, что и он не об этом мечтал. Когда опасность миновала, сделалось обидно, что немецкие патрули удрали в горы, не приняв боя, и разведчикам оставалось только жечь и крошить все, что у немцев было там, на этом мысу.

- А у вас раньше так бывало? - спросил Лопатин у Рындина.

- Один раз еще хуже было. Высадились, как говорится, не на тех координатах, два часа пустые скалы подметали клешами и отбыли восвояси. Но это когда было, а теперь прощальная гастроль - и такая неудача!

- Почему считаете, что неудача? - спросил Иноземцев. Он и до этого стоял рядом, облокотившись о поручень и глядя в воду, но молчал так упорно, что казалось, промолчит до самого Полярного.

- Не повоевал напоследок, - сказал Рындпн.

- Задание выполнили полностью и без потерь, - сказал Иноземцев. - Я лично, наоборот, считаю, что удача.

- Для тебя удача, для меня неудача, - вздохнул Рындин и спросил Лопатина, долго ли еще он пробудет здесь, на севере.

Лопатин сказал, что нет, уже получил вызов и, как только напишет корреспонденцию и согласует ее у них, в морской разведке, сразу уедет в Москву.

- Жаль, - сказал Рындин, а то еще раз-другой сходили бы тут без меня с Иноземцевым, он бы вам рекомендацию в партию дал.

Как, Иноземцев, дал бы корреспонденту рекомендацию?

- Если, сколько положено для этого, вместе прослужили бы - дал, сказал Иноземцев.

- А сколько положено? - спросил Рындин.

- А что, вы не знаете?

- А ей-богу, не знаю. Знал, да забыл. Месяц в одной части, что ли? Я теперь пехота, теперь мне с вами не служить...

И, присвистывая, пошел по палубе.

- А вы рапортов не подавали ехать под Москву? - спросил Лопатин у Иноземцева.

- Нет. Я воюю где прикажут.

- А вернуться на подводный флот не думаете?

- Об этом не мне думать, - сказал Иноземцев так угрюмо, что стало ясно: думает все время.

- Вот видите, - сказал Лопатин, - напрасно вы меня оберегали, не хотели спускать с борта. Все обошлось даже без выстрела...

- Я вас не оберегал, - сказал Иноземцев. - Просто боялся, что отстанете, придется или задерживаться из-за вас, или людей с вами оставлять. Не знал, что вы так хорошо по горам ходите.

А что без выстрела, то почему я именно о вас должен думать?

Почему у вас о себе такое представление, раз на вас, как и на мне, военная форма?

Лопатин ничего не ответил, подумав об Иноземцеве, что он правильный человек и что, когда подают в партию, рекомендации надо просить у таких, как он, а не у тех, кто готов дать ее любому...

Помолчав и сочтя, что достаточно поставил Лопатина на место, Иноземцев сказал миролюбиво:

- С выстрелами или без - раз на раз не приходится. Рындин считает, что если вы один раз в операцию с ним пошли, так он виноват перед вами, что боя не было. А люди рады, что задание выполнили - и без выстрела. На их жизнь всего этого еще хватит...

В Полярном Лопатин высадился первым, не дожидаясь Иноземцева и Рындина; у них оставались там, на охотнике, свои дела.

С Рындиным попрощался, а с Иноземцевым договорился прийти к нему в морскую разведку с очерком, чтоб он посмотрел.

- Когда придете? - спросил Иноземцев.

Лопатин сказал, что послезавтра.

Иноземцев помолчал, прикидывая что-то в уме.

- Если до обеда - застанете, - и, отвернувшись от Лопатина, окликнул Чехонина: - Чехонин! Выводите и стройте личный состав.

Уже идя по пирсу, Лопатин вспомнил свой разговор с Чехониным там, на охотнике, про жену Иноземцева.

По пирсу, навстречу Лопатину, медленно шла женщина, в сапогах, полушубке и платке. Руки у нее были засунуты в карманы полушубка, а лицо было красивое, равнодушное, скучающее.

Замороженное лицо, но, если его оттаять, еще неизвестно, что будет, может, оно окажется все в слезах.

Женщина шла по пирсу медленно-медленно, как будто

боялась слишком рано дойти до того конца его, где стоял охотник.

Поднимаясь в гору по широкой циркульной лестнице, которую хорошо знают все, кто бывал в Полярном, Лопатин не удержался и оглянулся.

Внизу по пирсу строем шли разведчики, а на оставшемся позади нх пустом куске пирса совершенно одна стояла женщина. Она стояла одна, и Лопатин долго не мог оторвать от нее взгляда, смотрел на нее, а думал о несчастьях в собственной жизни.

Потом на пирс поднялся Иноземцев. Женщина шагнула к нему и ожидающе вынула руки из карманов. Но он не обнял ее, а остановился, руки по швам, словно стоял перед строем. Что-то коротко сказал и пошел мимо нее по пирсу. Она постояла не поворачиваясь, лицом к морю, потом повернулась, заложила руки в карманы полушубка, догнала мужа и пошла с ним рядом. Они шли там, внизу, на фоне моря, и Лопатин хорошо видел, - они идут, не касаясь друг друга плечами...

На узле связи его ждала новая телеграмма. Редактор требовал срочно, еще до отъезда, написать и передать по телеграфу материал о летчиках-истребителях, прикрывавших Мурманск, наверное, считал, что это могло пригодиться в связи с налетами на Москву.

Истребители, охранявшие Мурманск, исправно делали свое дело, но в самолет к ним за спину не залезешь, а писать с чужих слов всегда трудно. Потратив на это три дня, Лопатин засел за отложенный очерк о морских разведчиках и, дописав его, понес визировать.

Открыв дверь в знакомую комнату, он, к своему удивлению, увидел Рындина. Рындин сидел не за столом, а на столе, взгромоздясь на угол толстой ляжкой, и, дымя самокруткой, всей лапой, страницу за страницей, с хрустом листал какой-то иллюстрированный журнал. Наверное, английский или американский, с пришедшего недавно конвоя. Махорочный дым стоял до самого потолка.

- Вот какие у нас дела, - сказал он, слезая со стола. - Вот какие дела... - мрачно повторил он еще раз и, пройдясь по комнате, сгреб журнал и сунул Лопатину.

- Посмотрите! И откуда они, дьяволы, столько красивых баб берут, а главное, те сниматься в таком виде соглашаются... - сунул журнал и снова заходил по комнате.

Он был так явно не в себе, что Лопатин понял: все, о чем Рындин мечтал, накрылось - начальство взяло обратно согласие на его перевод в морскую пехоту под Москву, и он теперь бесится.

Пожалев его, Лопатин не стал расспрашивать.

- Я, правда, не по своей вине на три дня опоздал - мы условились с Иноземцевым, что я зайду раньше. Он сегодня будет?

Рындин так резко повернулся к Лопатину всем своим массивным телом, что затрещал пол.

- А вы что, еще не в курсе наших дел?

И, увидев по лицу Лопатина, что не в курсе, сказал:

- Застрелили Иноземцева. Только что с поминок вернулся.

Еще не спал и не брился... - И словно надо было кому-то доказывать, что он еще не брился, потрогал толстой волосатой рукой сначала одну, потом другую щеку: - Видите...

Потом опять сел на стол и рассказал, как все получилось.

Его самого, оказывается, на три дня задержали, чтобы ввести преемника в курс дела, а Иноземцев в это время пошел на катере в Норвегию в условленном месте принять на борт двух наших, уже месяц находившихся там. Они не вышли в назначенное время.

По закону надо было отвалить, но он все еще ждал их. В это время в скалах, в километре от фиорда, началась перестрелка. Услышав ее, Иноземцев пошел на риск: взял с собой группу и углубился навстречу выстрелам. Отходивших к берегу разведчиков спасли, перехвативший их немецкий патруль перебили, но в перестрелке Иноземцев был убит наповал.

- Вот сюда пулей, - сказал Рындин и ткнул себя пальцем между бровями. Тело, конечно, не оставили, вынесли. Тем более что с ним Чехонин был... И старшину второй статьи Андреечева тоже убили, и тоже тело вынесли. Да вы его знаете!

Лопатин смотрел на Рындина, стараясь вспомнить эту фамилию.

- Знаете, - повторил Рындин. - Когда мы с вами ходили, помните, вы сорвались, где сильно переметено было, а краснофлотец, что с вами рядом шел, помогал вам обратно выбраться. Помните?

- Помню.

- Вот это Андреечев и был. Ему Иноземцев с самого начала приказал вас страховать. Он и страховал. Вот так... - помолчав, сказал Рындин и опять слез со стола и заходил по комнате. - Выпили крепко и покойника ругали, когда выпили.

- За что?

- За то, что умер... Инструкция строгая: раз в назначенный срок люди на тебя не вышли - отваливай! А нарушил, пошел на риск - умер!

Услышав это, Лопатин сказал, что Иноземцев был не похож на человека, склонного идти на риск, нарушая инструкции. Он,

Рындип, - да, а Иноземцев - нет. Во всяком случае, по первому впечатлению...

Но Рындин перебил, не дав договорить:

- Вот и ерунда. На риск, если хотите знать, он чаще меня шел. Только я любил об этом трепаться, а он никогда. - И, посмотрев на Лопатина красными, еще пьяными глазами, добавил: - Все пишете, пишете о нас... Пишете, что первое на ум взбрело, а кто из нас какой, так и не знаете...

Он походил по комнате и, глядя не на Лопатина, а себе под ноги, сказал:

- Жена его как предчувствовала... Ни за что уезжать от него не хотела. Страстно его любила. Трижды ей литер оформлял, даже разговаривать с ней перестал. Дождалась все-таки... На поминках ни слезы не уронила... Это я понимаю - горе. Я бабьим слезам!

не верю...

- Наверное, уедет теперь к детям, - сказал Лопатин.

- Не знаю, не спрашивал... - Рындин по-прежнему глядел себе под ноги.

- А вы когда теперь едете? - спросил Лопатин.

- А я теперь, выходит, не еду. Рапорт обратно взял. Так что передавайте от меня привет Москве. Сами-то вы едете?

- Попытаюсь еще сегодня, поездом.

- Значит, проститься с нами пришли?

- Не только. - Лопатин объяснил, что договорился с Иноземцевым показать ему свой очерк.

- Давайте мне, - сказал Рындин, протягивая руку. Но когда Лопатин вынул из полевой сумки очерк, покачал головой: - Я насчет этого ненадежный, если складню написано - обязательно увлекусь и какую-нибудь военную тайну не вычеркну. За одну статью в "Красном флоте" уже имел выговор. Пойдем вместе прямо к Сидорину - этот через свои очки ничего не проморгает...

Он сунул в карман черных флотских, заправленных в сапоги брюк кисет с махоркой и, грузно скрипя ступеньками, полез вместе с Лопатиным на верхний этаж к капитану первого ранга Сидорину.

23

За всю корреспондентскую жизнь Лопатина у него еще не было такого бешеного в смысле работы времени, как этот декабрь под Москвой, куда он вернулся в первый день нашего контрнаступления.

Когда фигура Лопатина в нескладно, по-бабьи сидевшем на нем слишком длинном полушубке появлялась вечером в коридорах "Правды", где теперь на четвертом этаже ютилась и

"Красная звезда", дежурившие по номеру, радуясь, что он снова благополучно вернулся, с ходу поили его чаем и забрасывали вопросами: "Как там? Далеко ли прошли за Клин? Сильно ли разбит Калинин?

Много ли видел на дорогах побросанных немцами танков и машин?" Он входил в кабинет к редактору доложить о поездке, а через пятнадцать минут уже шагал по машинному бюро, пятная пол оттаявшими валенками. Он не решался диктовать сидя, боялся заснуть.

Просидев три дня под Волоколамском, пока город не взяли, и написав еще один очерк, Лопатин вылетел на южный участок фронта к Одоеву. Когда он прилетел туда, город был уже занят; по улицам проходили тылы освободившей его кавалерийской дивизии.

У самолета подломился костыль, его надо было менять; волейневолей пришлось заночевать в Одоеве.

Город был сильно разбит поочередно немецкими и нашими бомбежками и на треть сожжен немцами при отходе. Во всех, даже целых, домах были выбиты стекла. По заваленным снегом улицам медленно шли люди, они останавливались около домов - своих и чужих, заглядывали внутрь через разбитые вдребезги стекла, пожимали плечами, некоторые плакали. Кое-где мелькали непривычно выглядевшие вывески учреждений и частных парикмахерских, с надписями на русском и немецком языках. Наконец Лопатин Добрался до здания райисполкома и зашел к председателю, который уже полдня как вернулся сюда вместе с первым вошедшим в город эскадроном.

Это был пожилой, легко, не по-зимнему, одетый человек, властный, громкоголосый, закрученный делами и удрученный зрелищем бедствий, постигших его родной город. В комнате стояла полутьма. Выбитые стекла были залатаны фанерой; одна женщина домывала пол, другая - растапливала печку. Кроме стола и стула, в комнате ничего не было, но в соседней комнате не было и этого - несколько посетителей теснилось там, стоя или сидя на подоконниках.

- Жалко, раньше не пришли, - сказал председатель, отдавая Лопатину его удостоверение. - Хорошие люди были - секретарь подпольного райкома и еще двое оставленных тут нами товарищей.

- А где они?

- Уехали в штаб корпуса - сведения о немцах давать.

- Жаль, - посетовал Лопатин и добавил, что, наверное, с кем поговорить найдется - в соседней комнате ждут приема несколько человек...

- Человеки, да не те! - сердито хлопнув по столу рукой, ответил председатель странной фразой, значение которой стало понятно, только когда в комнату вошел первый из ожидавших приема.

Это был инженер горкомхоза, который, как выяснилось из последующего разговора, пустил при немцах выведенный из строя городской водопровод. Он пришел не по вызову, а сам, и держался спокойно, кажется не чувствуя себя особенно виноватым. Председатель райисполкома принял его наскоро, выслушал, стоя сам и не приглашая садиться, и, недружелюбно сказав: "Ладно, идите, мы с вами еще разберемся", отпустил.

- А с чем вы еще будете разбираться? - спросил Лопатин, когда инженер вышел.

- Как с чем? - поднял на Лопатина глаза председатель райисполкома. Работал на немцев, сам сознается!

- Но водопровод-то, наверно, не только немцам был нужен, а и городу? возразил Лопатин.

Председатель райисполкома посмотрел на него сердито, но неуверенно. "Ну что ты ко мне привязался? - было написано на его лице. - Оказался бы на моем месте, поглядел бы я на тебя".

- Я же говорю: будем еще разбираться, - неопределенно сказал он вслух и вызвал следующего из ожидавших - заведующего городской пекарней; он пек хлеб при немцах и, по первому впечатлению Лопатина, был прохвостом. Вслед за ним через комнату председателя прошли еще трое людей, остававшихся в городе на своих службах все время, пока в нем были немцы, - монтер с электростанции, врач из городской больницы и какая-то женщина, работавшая в карточном бюро и с рыданиями говорившая, что хотя она и кандидат партии, но что же ей было делать, когда у нее на руках грудной ребенок и мать-инвалидка!

- Что тебе делать было - не знаю, а что ты в партии была - об этом забудь! - сказал председатель райисполкома, судя по всему знавший и жалевший эту женщину и все-таки твердо уверенный в правоте своих слов.

- Что же мне теперь делать? - продолжала рыдать женщина. - Нам хоть карточку-то дадут теперь?

- Иди бабам помогай, другие комнаты мой, а то весь райисполком в навозе, как будто Мамай прошел, - помолчав, сказал председатель и добавил ту же фразу, которой заканчивались все его разговоры: - Потом разберемся!..

- Слушайте, - сказал Лопатин уже глубокой ночью, вернувшись после обхода города в райисполком и пристроившись часика на два поспать рядом с председателем, в его кабинете, на

двух брошенных на пол тюфяках. - Вот вы все говорите: "Потом разберемся, потом разберемся". А как мы будем потом разбираться?

- В чем разбираться? - усталым голосом спросил в темноте председатель.

- Ну вот хотя бы тут у вас, - сказал Лопатин. - Ведь какаято часть населения здесь оставалась...

- Примерно до половины, - отозвался председатель, - а точней потом разберемся... - уже механически повторил он ставшую привычной за день фразу.

- Предположим, половина, - сказал Лопатин, - значит, несколько тысяч человек. Это же не деревня, где есть хотя бы спрятанные, закопанные запасы продовольствия, а все-таки город. Хлеб пекли в пекарнях, продукты давали по карточкам, воду брали из колонок, свет получали с электростанции... Нельзя же себе представлять, что вот сегодня пришли немцы, а завтра людям уже не нужно ни воды, ни хлеба, ни света - ничего!

- Насчет света ерунда! - прервал Лопатина председатель. Электростанция - военный объект, посидели бы и на лучине!

А монтер просто шкура: имел шанс взорвать - и струсил!

- А вы бы взорвали?

- Безусловно.

Председатель сказал это так просто, что Лопатин поверил ему.

- Ну, а эта женщина? Ведь какая-то выдача хлеба - я ходил по городу, спрашивал, - по нищенским нормам, но все же и при немцах продолжалась?

- Ну, была! - отозвался председатель.

- Или тот же водопровод... Я вот, например, - застрянь я здесь в положении этого инженера, не знаю, как бы поступил, честно вам говорю!

- А я, думаете, все знаю? - вздохнув, сказал председатель. - Я ведь тоже не чурка, заметил, как вы на меня смотрели, когда я говорил, что потом разберемся... А как иначе? У меня есть указание выявить всех до одного пособников фашистских оккупантов, и я его выполню, будьте покойны. У меня совесть есть! Жрать не буду, спать не буду, а выполню.

- Это я понимаю, - сказал Лопатин, - но кого считать пособником? Вот вопрос, в котором надо разобраться!

- Вот видите, как до дела дошло, и вы сразу на мой язык перешли - надо разобраться! А когда разбираться - сейчас или потом? - И Лопатин почувствовал, как председатель в темноте усмехнулся.

- Не знаю, - помолчав, сказал Лопатин, - знаю одно: не

хочется, чтобы к радости примешивался испуг! За эти дни я много где был; и у людей, которые встречают войска, в глазах радость, а от вас уже несколько человек вышло с испугом в глазах...

- А у некоторых и должен быть испуг в глазах, - жестко сказал председатель.

- У некоторых, да! - так же жестко, нажав на слово "у некоторых", ответил Лопатин.

- Вот и напишите в свою газету то, что вы мне говорите, - сердито сказал председатель.

- И напишу, - принимая вызов, ответил Лопатин.

Несколько минут оба лежали молча, устав спорить и не в состоянии заснуть. Потом председатель заворочался, вздохнул и сказал:

- Вот вы ко мне пристали с этой женщиной... А теперь я вас спрошу: как, по-вашему, бывают или не бывают неразрешимые противоречия?

- По-моему, бывают.

- А как вы их разрешаете?

- То есть как?

- А вот так - оно неразрешимое, а вы обязаны его разрешить.

Как тогда?

Лопатин не знал - как тогда? Так и не ответив на этот вопрос, он долго лежал в темноте с открытыми глазами, вспоминая то эту навзрыд плачущую женщину из карточного бюро, то Арабатскую Стрелку и ту, другую женщину, черную и тихую, с ее бесстыдно простыми словами про обещанные немцами деньги.

Да, конечно, когда все это, и черное и белое, вот так очевидно, как ему преподнесла судьба, очевидно как на ладони - тогда проще. А если не так очевидно? А если не как на ладони, а как в двух зажатых кулаках и неизвестно, что из какого вытащишь? И всетаки, все-таки...

Он заснул с этим упрямым "все-таки" в душе и так и привез его с собой в Москву.

За всю поездку в Одоев война не напомнила ему о себе ни единым выстрелом, ни малейшей опасностью, но от этого было не легче, а трудней. Пройдя сквозь опасность, легче потом стоять на своем. На этот раз опасностей за плечами не было. Если были - то впереди.

Не заходя к редактору, чтобы тот не сбил его, Лопатин заперся и к вечеру написал очерк "В освобожденном городе". Он постарался, хотя бы мягко, провести свою вчерашнюю мысль о радости и испуге, испуге напрасном, потому что после восстановления нормальной жизни в каждом освобожденном городе мы сумеем быстро и правильно сделать различие между

действительными пособниками фашистов и людьми, которые вынуждены были оставаться на своей работе в интересах населения. Злясь на себя, Лопатин по нескольку раз исправлял и смягчал каждую, казавшуюся ему маломальски резкой, формулировку, он боялся, что любая из них может поставить под угрозу весь очерк.

- Уже знаю, что ты вернулся, - сказал редактор, когда Лопатин с очерком в руках вошел в его кабинет, - но приказал тебя не отрывать. Есть одна важная новость для тебя, но давай сначала прочтем.

Фразу насчет новости Лопатин пропустил мимо ушей - наверное, еще какая-нибудь поездка, которую редактор считает особенно интересной, - и, став у него за плечом, стал следить, как тот читает очерк.

Редактор поставил сначала одну птичку, потом вторую, потом третью, жирную, - против слова "испуг". Поставил, повернулся к Лопатину, словно желая спросить его: что же это такое? Но раздумал и уже быстро, не ставя никаких птичек, дочитал очерк до конца.

- Хорошенькая теория, - сказал он, бросив на стол очерк и быстро зашагав по комнате. - Большой подарок немцам сделал бы, напечатав твое творение...

- Почему подарок?

- Почему? - переспросил редактор, останавливаясь перед Лопатиным и закладывая большие пальцы за ремень. - Ну давай кого-нибудь еще позовем, пусть почитают, может, у меня ум за разум зашел... - Он уже подошел к столу, чтобы нажать кнопку звонка, но передумал. - Нет уж - пожалею тебя, забирай! - сказал он, складывая очерк вчетверо и протягивая Лопатину. - И выбрось это из головы, и вообще выбрось... Все равно в собрание сочинений не войдет...

- А все-таки почему? - не беря очерка, упрямо спросил Лопатин.

- А потому, - сказал редактор, - что немцы возьмут твой очерк и перепечатают во всех своих вонючих оккупационных листках, мол, не бойтесь, дорогие оккупированные граждане, милости просим, служите у нас, даже если потом опять попадете в руки Советской власти, все равно ничего вам за это не будет...

- А по-моему, не перепечатают. Какой им расчет перепечатывать? Наоборот, им больше расчета внушить, что как только мы придем, то всех, кто при немцах оказался на какой-нибудь работе или службе, вольно или невольно, - всех подряд за решетку...

- Это по-твоему, - не найдя, что возразить, сказал редактор. -

Скажи, пожалуйста: одни виноваты, другие не виноваты, третьим чуть ли не благодарность за то, что они служили у немцев, надо объявлять... Ты только подумай, к чему ты, по сути, призываешь в своей статье...

- К тому, чтобы всех не стригли под одну гребенку, только и всего.

- А гребенка тут и должна быть только одна - служил у немцев или не служил! Время военное, все эти "с одной стороны, с другой стороны" надо отставить по крайней мере до победы.

- Допустим, - упрямо сказал Лопатин, - а все-таки как надо было поступать этому инженеру-коммунальнику, о котором я пишу?

- Не знаю, - отрывисто сказал редактор. - Не надо было оставаться или не надо было на работу являться... Самому думать, как поступать. А раз остался, пусть теперь расхлебывает кашу...

И вдруг Лопатин совершенно забыл и то, как он выстругивал свой очерк, чтобы там не было ни сучка ни задоринки, и то, как он заранее решил не ввязываться в бесполезные споры: слова редактора насчет расхлебывания каши взбесили его.

- Слушай, Матвей! Как тебе не стыдно! Что значит "пусть расхлебывает"? Что же, эти люди виноваты, что ли, что мы отступили почти до Москвы? Мы отступили, а они пусть расхлебывают?

- Надо было отступать вместе с армией, - отрезал редактор, злясь от сознания собственной неправоты.

- Матвей...

- Что Матвей?

- А то, что у тебя пять корреспондентов в окружении остались, не сумели выйти, а ты хочешь, чтобы эта женщина с грудным ребенком и матерью-инвалидкой вместе с войсками ушла?! Ты хочешь, чтобы от границы до Москвы все успели на восток уйти, когда немцы летом танками по сорок километров в сутки перли...

Кому ты говоришь? И ты, и я это своими глазами видели! А теперь "пусть расхлебывают", да? Что ты передо мной-то дурака ломаешь, извини, пожалуйста.

- За "дурака" могу извинить, а за настроения твои другой бы на моем месте тебя по головке не погладил, - сказал редактор, останавливаясь перед Лопатиным и глядя ему прямо в глаза. - И я бы не погладил, если бы немного похуже тебя знал.

- А ты не гладь.

- А ты не нарывайся! То, понимаешь, намекает, что мы немцам лишние потери приписываем, то всепрощение

проповедует...

Укороти язык, а то пожалеешь.

- А я знаю, с кем разговариваю, - сказал Лопатин, тоже прямо глядя ему в глаза. - Я с тобой, а не с Кудриным разговариваю...

Кудрин был работник редакции, у которого с началом войны открылась малопочтенная страсть сообщать по начальству разговоры корреспондентов. Он надеялся благодаря этому подольше пастись в аппарате, но не разгадал характер редактора и пулей вылетел на фронт.

- И на том спасибо, - поворачиваясь спиной к Лопатину и снова начиная мерять шагами комнату, сказал редактор. - Но если хочешь знать мое, лично мое, мнение, - повернулся он из угла кабинета, - разговор твой не ко времени. Увидел пять взятых городов и расчувствовался, а мы, между прочим, не Берлины берем, а под Москвой еще сидим, если глядеть правде в глаза. Рано разнюниваться! Сейчас без железной руки не только то, что отдали, не вернем, но и то, что вернули, между пальцев упустим. Жаль, тебя Сталин не слышит, он бы тебе в два счета мозги вправил!

- Не знаю, не уверен, - сказал Лопатин.

- Не знаешь? - яростно переспросил редактор, и на его лице промелькнуло такое выражение, что Лопатину показалось - редактор знает что-то такое, чего не знает он. - В общем, хватит! - сказал редактор. - Совесть надо иметь! Когда вам от меня достается - это вы знаете! А что мне за вас бывает - это одна моя шея знает! - Он сердито хлопнул себя по шее. Забирай к чертовой матери свой очерк и считай, что у нас не было этого разговора. - Редактор снова схватил очерк со стола и на этот раз, почти скомкав его, сунул Лопатину. - Забирай, иди и высыпайся, завтра под Калугу поедешь!.. Подожди! - воскликнул он, когда Лопатин был уже у дверей. Позвони домой, совсем из памяти выскочило - к тебе жена приехала.

- Алло! - раздался в трубке густой бас Гели, когда Лопатин набрал знакомый номер.

- Здравствуйте, - сказал Лопатин. - Ксения дома?

- Сейчас позову, - сказала Геля. - Сюня с дороги моет голову.

Лопатин, наверно, минуты три ждал у трубки, пока в ней раздался голос жены.

- Ну где ты пропадаешь, иди скорей домой, - с капризной нежностью сказала она таким тоном, словно он задержался в магазине.

- Сейчас буду, - выдохнул в трубку Лопатин, которого, несмотря на разозливший его тон жены, как всегда, при звуках ее голоса, охватило торопливое желание поскорей увидеть ее.

Он медленно ехал по ночной Москве, останавливаемый фонариками патрулей, и думал о неразберихе своей семейной жизни.

За последние два месяца он почти приучил себя к мысли, что на сей раз война, кажется, развела их окончательно, но вот, неизвестно как и почему, жена вдруг вернулась в Москву, ему сказали, что она моет голову, он услышал ее знакомый голос из знакомой квартиры, и - пожалуйста, готово, его снова тянуло к ней, как глупое бревно по течению.

Что ему было делать с ней, все еще молодой, красивой и глупой, и с собой - уже немолодым, некрасивым и умным, а в общем-то, наверное, тоже глупым, раз он не только женился на ней, но и прожил с нею пятнадцать лет?

Наконец машина миновала последний патруль, и Лопатин подъехал к своему дому. Жена встретила его в дверях точно такая, какой он ожидал ее увидеть: в купальном халате, с мокрыми распущенными по плечам волосами и бисеринками пота на белом выпуклом лбу без единой морщинки.

- Не через порог, не через порог, а то поссоримся, - сказала она, когда он обнял ее, и, отступив на шаг, потянула его внутрь за собой, так что он сразу почувствовал все тепло и всю силу ее тела.

24

Пили чай далеко за полночь вместе с Гелей. До этого Лопатин с женой два часа провели вдвоем, и Ксения имела добродушно-самодовольный вид человека, целиком исполнившего свой долг и уверенного, что к ней теперь можно испытывать только одно чувство - благодарность. Самое глупое, что это было близко к истине.

Дом вторую неделю топили, и Лопатин сидел за столом в пижаме, которой не надевал с начала войны, и в туфлях на босу ногу.

Сидел обалдевший и отуманенный, не способный даже на свои обычные подтрунивания над Гелей.

За чаем Лопатин услышал, что его жена, работая завлитом театра, за время их разлуки наконец почувствовала себя вполне самостоятельной и нужной не только мужу, но и другим людям личностью, которой он не давал ей стать, пока был с ней рядом.

Он выслушал эту тираду молча. В их жизни так уж повелось, что, от времени до времени устраиваясь куда-нибудь на работу, она всякий раз почему-то считала, что делает это в пику мужу.

- Я знаю, что ты в душе недоволен, - говорила она, - но я не вправе принадлежать только тебе и забывать, что я тоже человек.

Он же как раз, наоборот, бывал доволен, когда она работала:

тогда у нее оставалось меньше свободного времени и в доме говорилось меньше глупостей, чем обычно. Потом, через полгода, ей надоедало работать, и она начинала рассказывать длинные взбалмошные истории о том, как ее не ценят и не понимают, и Лопатин с тоской предвидел, что пройдет еще месяц, она уволится, и человеком, не понимающим и не ценящим ее, опять окажется он сам.

То, что его жена еще с конца прошлой зимы снова начала работать, не удивило Лопатина. "Но почему она и сейчас, почти год спустя, все еще довольна своей работой? И почему, судя по ее словам, ею тоже довольны? Кто ей там ворожит и почему? - подозрительно думал сейчас Лопатин, глядя на жену. - Все-таки удивительно красивое у нее лицо".

Он вспомнил, как в первые два-три года после женитьбы все силился привести в соответствие то, что болтала Ксения, с тем одухотворенным, загадочно-красивым выражением лица, с которым она несла свою чепуху.

И, вспомнив об этом, с печалью подумал о дочери, от которой третьего дня пришло в редакцию еще одно короткое письмо; в нем, как и в прежних, было достаточно взрослого понимания войны, чтобы не просить отца приехать.

В свои четырнадцать лет она, кажется, уже составила собственное суждение и о матери, и об отце. Иногда, еще до войны, он ловил на себе ее удивленный взгляд: почему он без матери - один, а при матери - другой, не похожий на себя.

"А она похожа на меня", - подумал Лопатин и с горечью попробовал себе представить, что творится в душе девочки, которая знает, что отец на войне и если даже хочет, то не может быть с нею, а мать вполне может, но, неизвестно почему, не хочет.

Едва он успел подумать об этом, как жена сама заговорила о дочери.

- Завтра нам с тобой вдвоем нужно будет обязательно написать ей письмо.

Когда она говорила "обязательно", это вовсе не значило, что она это сделает.

- Я ей напишу про наш театр. Ей будет интересно, как ты думаешь?

Лопатин неопределенно хмыкнул.

В этот момент томившаяся молчанием Геля, на свое несчастье, решила вступить в разговор.

- Я считаю, - сказала она, - что Сюня права.

"Еще бы", - подумал Лопатин. С тех пор как он помнил Гелю, Сюня всегда была права.

- Да, права! - с апломбом, басом повторила Геля. - Я вам уже

один раз говорила это - Сюня правильно сделала, что отправила Ниночку вместе со школой. В такое время, как сейчас, детей надо принципиально приучать к самостоятельной жизни.

- Права она или не права, но что вы-то понимаете в этом - что нужно и чего не нужно детям? Помолчали бы по крайней мере, сделали бы мне личное одолжение! - желчно сказал Лопатин.

- Опять ты грубишь Геле, - сказала Ксения. - Когда ты от этого отвыкнешь? Неужели, если у человека не удалась личная жизнь, надо непременно тыкать его в это носом.

- Это у нас с тобой личная жизнь не удалась, - брякнул Лопатин, - и не без участия Ангелины Георгиевны, - кивнул он на Гелю.

Это было несправедливо: Геля появилась, когда их жизнь уже все равно не удалась.

Геля звякнула чашкой о блюдце и гневно вышла из комнаты.

В другое время Ксения не спустила бы этого мужу, но сейчас ее так распирало желание выболтать все, что она знала о своем театре, что она и после ухода Гели продолжала журчать как ни в чем не бывало, пока подкошенный многодневным недосыпанием Лопатин не начал клевать носом.

- Ну вот, всегда, когда я начинаю говорить не о твоих, а о своих делах, тебя клонит ко сну, - вспыхнула она, но тут же сменила гнев на милость: А может быть, ты и правда хочешь спать, ты, наверно, устал. - Ей только теперь пришла в голову эта простая мысль.

25

Утром, когда Лопатин проснулся, Ксения еще спала. Вчера ему показалось, что в доме тепло, но с утра батареи были как лед. Он прошел босиком из спальни в коридор, сунул ноги в валенки, поверх пижамы надел в рукава полушубок и в таком виде отпра

вился к себе в кабинет. Против обыкновения он уже несколько дней не прикасался к дневнику. Вытащив из кармана клеенчатую тетрадку, он стал вкратце записывать свои встречи и разговоры в Одоеве. Но ровно через пять минут жена оторвала его от этого занятия.

- Фу, какая пыль, - бухнувшись на тахту, воскликнула она таким тоном, словно Лопатин забыл выбить эту пыль к ее приезду. - Уже пишешь! Неужели раз в жизни нельзя с утра поваляться в постели, как все нормальные люди!

Лопатин пробормотал, что все нормальные люди как раз не валяются с утра в постели, и, наморщив лоб, чтобы не потерять нить важных для него мыслей, попытался дописать еще несколько фраз под жужжание жены, не обращавшей внимания ни на его занятия, ни на выражение его лица. Обхватив руками колени и

раскачиваясь на тахте, она продолжала вчерашний рассказ о своем театре, - оказывается, она прилетела сюда не одна, а с Евгением Алексеевичем.

Евгений Алексеевич, как еще вчера понял Лопатин, был новым директором их театра; он прилетел в Москву, чтобы вывезти какой-то впопыхах забытый, а теперь нужный до зарезу реквизит.

А Ксения прилетела с ним, чтобы привезти из Москвы новые пьесы, тоже, по ее словам, нужные до зарезу. Одна из этих пьес репетировалась здесь в единственном оставшемся в Москве театре, говорили, что она хорошая и что ее написал один военный корреспондент, у Ксении, как назло, вдруг выскочила из памяти его фамилия.

- Говорят, молодой и симпатичный, с усиками. Ты его знаешь! Он тоже у вас. Какой он? Правда, симпатичный, можно с ним разговаривать? приставала она к мужу.

- Можно, - продолжая писать, буркнул Лопатин, вспомнив своего молодого и щеголеватого сослуживца. - Немного нижон, но в общем ничего.

- Хоть бы ты когда-нибудь о ком-нибудь хорошо отозвался!

- А чего мне о нем хорошо отзываться, - усмехнулся Лопатин. - Он молодой и красивый, а я старый. Пойдешь к нему за пьесой, еще влюбишься, чего доброго!

- Вечно у тебя глупости на уме. Перестань сейчас же писать!

- Ну, перестал...

- Слушай, а может, ты сам напишешь нам пьесу? Почему бы тебе не написать нам пьесы, а? - она подпрыгнула на тахте от радостно озарившей ее идеи. - Да нет, ты просто обязан нам это сделать.

- Кому обязан, почему обязан? Ну почему я вдруг обязан писать вам пьесу?

- Нельзя быть эгоистом, - сказала Ксения. - Ты вполне можешь написать пьесу, значит, это твой долг! Мало ли что тебе не хочется!

- Да я отроду пьес не писал!

- Я тоже до прошлой зимы никогда не была зав литом, - победоносно сказала Ксения.

Не найдясь, что возразить против такого аргумента, Лопатин махнул рукой.

- Ладно, я подумаю...

- И нечего думать! Попросишь у своего редактора отпуск, полетишь вместе со мною и за месяц напишешь там пьесу. Гораздо лучше, чем все твои корреспонденции! Все равно они приходят к нам, когда мы все это уже слышали по радио.

Последнее замечание жены окончательно разозлило Лопатина:

ему вспомнился и вчерашний разговор с редактором, и погибшие товарищи, и то, какой ценой доставались иногда корреспонденции...

- Никакого отпуска просить я не буду, - сказал он, - и никуда с тобой не полечу.

- Ну и грубо.

Лопатин вздохнул и вспомнил, что ему сегодня с утра надо являться к редактору и не то лететь, не то ехать под Калугу.

- Долго ли ты здесь пробудешь? - спросил он.

- Не знаю. Как будут дела у Евгения Алексеевича. Я полечу обратно вместе с ним.

- А то мне надо сегодня поехать дня на два, на три...

- Куда поехать?

- На фронт.

- Глупости! - сказала Ксения.

- Не глупости, а приказание редактора.

- Не может быть! Он был вчера так мил со мною, когда я говорила с ним по телефону, он же отлично знает, что я к тебе приехала. Я просто возьму трубку и позвоню, чтобы он тебя никуда, не посылал, пока я здесь.

Угроза была глупой, но реальной.

- Сейчас напьемся чаю, и я поеду, - сказал он, пресекая разговор.

- Хорошо, - сказала Ксения. - Я теперь уверена, что у тебя тут что-то появилось без меня.

- Война у меня появилась без тебя, - угрюмо сказал Лопатин. - Война, понимаешь!

У него был смешной вид - в пижаме, валенках и полушубке, но жена прекрасно знала, что, несмотря на этот смешной вид, решение его бесповоротно, и сочла за благо сделать то, что всегда делала в таких случаях, - заплакала. Ей вовсе не так уж безмерно хотелось, чтобы он остался, но она просила, а он не остался; от этого страдало ее самолюбие, и слезы были отчасти искренними. Впрочем, она всегда плакала без затруднений, легко и красиво.

Чай пили в глубоком молчании. Лопатин сидел по одну сторону стола, а Сюня и Геля - по другую. Пока он брился и одевался, они уже успели перемолвиться и теперь восседали против него, обиженные и страдающие от собственного решения не говорить за столом ни слова.

- Ну ладно, до свидания, - крикнул Лопатин, уже надев ушанку и стоя в коридоре.

Жена сорвалась с места, побежала и порывисто и жадно

поцеловала его в губы, прошептав: "Только потому, что на фронт, иначе бы и не прикоснулась к тебе".

Уже спускаясь по лестнице, Лопатин вспомнил, что из-за всей этой болтовни так и не поговорил с женой о том, о чем больше всего хотел поговорить, - о дочери. "Ладно, вернусь и поговорю, - подумал он. - Не уедет же она, в самом деле, за эти два-три дня".

Газета вышла поздно, редактор только что встал и сидел за столом невыспавшийся, с набухшими веками.

- Можешь пока не ехать, - сказал он Лопатину. - Пошлю вместо тебя Гурского. Он давно просится. А ты вместо него посидишь здесь на правке, одну-две передовые дашь. Вчера сгоряча не сообразил, что, раз приехала жена, надо дать человеку пожить в Москве.

- Ничего, она еще побудет здесь, - не желая менять своего решения, сказал Лопатин, - а я съезжу и вернусь.

- Смотри, как знаешь, но не задерживайся. Доберись до Калуги, первый материал в зубы, и назад, - сказал редактор, решивший, что Лопатин хочет поехать, чтобы загладить их вчерашнюю размолвку, и довольный этим. - Прямо сейчас поедешь?

Лопатин кивнул.

- Тогда зайди в фотоотдел. Туда к ним от меня пошел клише брать для своей газеты Васильев, армейский редактор. Он тебя захватит до Тулы. А в Туле - наш Тихомирнов и наша "эмка".

Лопатин зашел в фотоотдел и действительно застал там укладывавшего в полевую сумку пачку клише худого батальонного комиссара, в плохо сшитой горбатой шинели. Лицо у батальонного было злое и желтое.

Когда Лопатин попросил подвезти его, батальонный поморщился и сказал, что выедот в Тулу только в четырнадцать - через три часа.

- Хорошо, - сказал Лопатин. - А где мне найти вас через три часа?

Батальонный почему-то заколебался и спросил, знает ли Лопатин, где Ваганьковское кладбище.

- Конечно, - недоумевая, ответил Лопатин.

- Если будете там, у ворот, ровно в четырнадцать, возьму вас. Батальонный застегнул полевую сумку, снова поморщившись, посмотрел на Лопатина, надел ушанку и ушел не прощаясь.

Возвращаться домой было уже ни то ни се, и Лопатин скоротал два часа в редакции, выиграв подряд семь или восемь партий в шахматы у всех, кто попал под руку.

Потом, вскинув на плечо полупустой вещевой мешок, дошел до трамвая и с пересадкой к четырнадцати добрался до

Ваганькова. У ворот кладбища стояла небрежно обмазанная белой маскировочной краской фронтовая "эмка" с цепями на колесах. "Эмка" была заперта, возле нее никого не было - шофер куда-то ушел. Скинув с плеча мешок и приткнув его к подножке, Лопатин стал прохаживаться возле машины.

Кругом было пустынно. Мимо Лопатина в ворота въехали сани, запряженные тощей клячей. На санях стоял гроб, сбитый из горбыля с большими щелями. Рядом с гробом сидела замороженная женщина в платке, повязанном поверх шляпки. Проехали сани, потом, свистя тяжелой одышкой, прошел пожилой, хорошо одетый мужчина, таща за собой на веревке санки с детским гробом.

И снова долго никто не входил в ворота кладбища и не выходил из них.

Наконец из ворот вышел батальонный комиссар, похожая на него, такая же худая, как он, до синевы заплаканная девушка лет восемнадцати и рослый хмурый шофер. Он отпихнул ногой мешок Лопатина и полез в машину.

Батальонный жестом показал Лопатину, чтобы тот устраивался впереди, а сам с девушкой сел сзади.

- Подъезжай сначала к управлению тыла, - приказал батальонный шоферу.

Лопатин сидел впереди и думал о том, что люди по-прежнему умирают и просто так. Сзади него тихо переговаривались отец и дочь.

- Если совсем не будут топить, переезжай к тете Нине, - говорил отец.

- Не хочу, она к маме так ни разу и не пришла, - ответила дочь.

- Ты же знаешь, что она болеет.

- Не хочу, она каждый кусок будет считать, - упрямо повторила дочь.

- Так кусок-то твой, - сказал отец. - Я вам с ней буду весь аттестат переводить. Она будет не вправе.

- Все равно не хочу, - так же упрямо повторила дочь.

- Ну, как хочешь, - вдруг согласился он.

Потом они заговорили так тихо, что Лопатин некоторое время ничего не слышал. Потом девушка горько всхлипнула и сказала:

- Верно, мама красивая лежала в гробу, как будто не болела?

За спиной Лопатина установилось молчание и послышался хриплый звук, перешедший в кашель. Отец боролся со слезами.

- Не надо, папа, не надо, ну прошу тебя, не надо... - умоляюще сказала девушка, и звуки кашля за спиной Лопатина затихли.

"Вот у них горе, - подумал Лопатин о людях, сидевших за его спиной, - а у нас с Ксенией так, маята... Хотя если убьют - тоже поплачет".

Машина остановилась на улице Горького, около здания Музея Революции, окна его были забиты деревянными щитами.

- Сейчас перейдешь на ту сторону, - как маленьком, стал объяснять отец дочери, открыв дверцу машины, - и зайдешь вон в тот подъезд, в первый, в бюро пропусков. Там позвонишь Филиппову по двадцать седьмому, скажешь, кто ты, и он тебе закажет пропуск. Я его предупредил.

- А если он меня не возьмет? - сказала девушка.

- Возьмет, он мне обещал. Он мне вчера сказал, что им нужны машинистки.

- А если не возьмет? - снова спросила девушка.

- Не возьмет - напишешь, - сухо сказал отец и, не вылезая из машины, обнял и поцеловал ее. - Ну иди, иди...

Она вышла из машины, и он, прильнув к стеклу, проследил за нею, пока она не перешла улицу и не скрылась в подъезде управления тыла.

- Поехали, - сказал он.

Машина пересекла занесенную снегом и не расчищенную Красную площадь, свернула по набережной на Полянку и выехала на шоссе. Батальонный комиссар сидел сзади и упорно молчал.

За Подольском закипел радиатор, шофер остановил машину, открыл дверцу, полез за заднее сиденье, с грохотом вытащил оттуДа ведро и побежал за водой. Пока он доливал воду, из радиатора вырывались столбы пара и под сильными порывами морозного ветра, переломившись, отлетали в сторону.

Когда шофер наконец завернул пробку радиатора и влез в машину, Лопатин решился повернуться к своему спутнику.

- Может, пересядете вперед, товарищ Васильев?

- Не надо, - сделал тот слабое движение рукой. - Если хотите, сами пересядьте на заднее.

Он подвинулся на сиденье, и Лопатин сел рядом с ним - туда, где недавно сидела его дочь.

- Сволочи люди, - вдруг ни с того ни с сего сказал Васильев.

Настоящие мародеры! Было бы на фронте, пострелял бы своей рукой.

- Я одного по уху зацепил, когда вы вперед ушли, - сказал шофер.

- Зацепил, а что толку? Все равно были мародерами и останутся...

- А что, в чем дело? - спросил Лопатин, чувствуя, что пришло время поддержать разговор.

- За все дай! - сказал Васильев. - За место - дай! За то, чтобы могилу вырыли, - дай! За то, чтоб сегодня, а не завтра похоронили, - дай! Даже за то, чтобы землей засыпали, - дай! Как будто можно землей не засыпать. А хотя с них все станется - не дашь, так и не закопают! Вытащат гроб из земли, в сторону поставят и кого-нибудь другого на этом месте похоронят, и опять - дай! Дай хлеб, дай сахар, дай табак! Дай водки! Дай, дай, дай!

- А если не дать? - сказал Лопатин.

Васильев печально и зло усмехнулся:

- На кладбище не заходили?

- Нет.

- И хорошо сделали. По неделе прямо на снегу гробы стоят, как в очереди - кто последний, я за вами! Это у тех, кто не дал.

Не дал, потому что нету. Кто же пожалеет дать, если есть? Этим и пользуются, сволочи. Был бы я московским комендантом, - помолчав, сказал он, - сократил бы патрули и выделил наряды бойцов на кладбищах могилы копать. Ничего бы не составило. А так собралась - ряжка к ряжке бесстыжая компания из пьяных инвалидов и просто жуликов, пользуются сложившимся положением, нашли себе теплое местечко - кладбище!

Раздражение на какую-то минуту даже заставило его забыть о собственном горе.

- Жена за меня беспокоилась, - сказал он после молчания, - а хоронить мне ее пришлось. Пока сообщили, пока доехал, только и осталось, что похоронить. Еще спасибо, что отпустили под предлогом командировки, а то лежала бы там в очереди. - Его передернуло от собственных слов. - Дочь-то у меня видели какая - безрукая... Горе - а они дай, дай, дай, дай! Как злые попугаи:

копают - матерятся, опускают - матерятся. Ни стыда нет, пи совести, только глотка и брюхо. - Он снова надолго замолчал.

Лопатин с пронзительной печалью подумал, что жизнь и смерть идут своим чередом, и какие-то люди жадно урывают себе куски и на жизни и на смерти. "Жуки-могильщики", - подумал он.

Что ж, бывает и похуже! Кормятся и вокруг госпиталей, и вокруг этапных пунктов, и на станциях - при билетах, и в столовых при миске супа, на которую до того в обрез отпущено, что неизвестно, что выловить в свою пользу, а все-таки вылавливают, догола, до воды!

Что же, раньше, до войны, этого не было? Или он, как слепой, ходил и не видел? Или во время войны, когда, кажется, всему этому уж и вовсе не место, наоборот, его стало больше? Или испытания войны всколыхнули в людях так много сильного и чистого, что нечистое сразу лезет в глаза, как пятна на снегу? Где тут правда? И как это будет после войны: неужели то же будет?

Впереди расстилалось обледенелое, скользкое, серо-белое накатанное шоссе; по сторонам в сугробах мелькали и пропадали деревни. Километров за сорок до Тулы шофер притормозил: на обочине шоссе валялись перевернутые повозки и грузовики.

- Еще недавно, видите, докуда танки Гудериана добирались? - выходя из оцепенения, сказал Лопатину Васильев. - Вон из той лощины шоссе простреливали. А сейчас мы - под Калугой.

Может, даже взяли. Я когда вчера в Москву выезжал, шли бои на окраинах.

Прошел еще час, и "эмка" въехала в Тулу.

Лопатин бывал здесь до войны, но сейчас город трудно было узнать - он был весь перегорожен рогатками и баррикадами из обрезков полосового железа, болванок, ржавых газовых труб и прессованной металлической стружки - всего, что на скорую руку сгребли на старых заводских дворах и для прочности местами прихватили сваркой.

Проехав по окраине города мимо неприметных одноэтажных домов, в которых размещался штаб армии, армейский редактор высадил Лопатина у маленького чистенького домика, где квартировал корреспондент "Красной звезды" батальонный комиссар Тихомирнов.

Лопатину пришлось довольно долго помолотить в дверь, прежде чем ему открыл Тихомирнов - в валенках и без пояса.

- Знал бы - подождал, не обедал, - радушно встретил он Лопатина, - но борщ еще не остыл, и сто граммов найдутся! Странно подумать, но мы с тобой не видались с финской! Надолго ли к нам?

- Пока не возьмете Калугу. Или ты ее уже взял?

- Не так-то скоро сказка сказывается! Давай сперва заложи базис, а потом уж требуй информации. Информация все же надстройка!

Пока Лопатин ел борщ, казавшийся ему на диво хорошим, Тихомирнов, скинув валенки и удобно, по-турецки, подсунув под себя ноги в шерстяных носках, сидел напротив, на кровати, на фоне коврика с прудом и лебедями, и ласково смотрел на Лопатина своими черными, вкрадчивыми, девичьими глазами. У этого поповича, в пятнадцать лет ушедшего из отчего дома в комсомольцы и задолго до войны, еще в тридцатом, на раскулачивании, получившего свою первую пулю, была обманчивая внешность ласкового бездельника. На самом же деле он был человек хотя и веселый, и умевший удобно устроить свою жизнь в любой обстановке, но при этом неутомимый в работе и беспощадный к себе и другим. Редактор только и делал, что на летучках ставил его в пример.

Лопатин доел борщ и принялся соскребать со сковородки пшенную кашу с жареным луком. Встретившись взглядом с Тихомирновым, он улыбнулся:

- Хорошо живешь, Алеша Попович! Расскажи, как твои дела? Как дезориентируешь своим тихим видом остальную пишущую братию и как потом вставляешь ей фитили? Или ты переменился?

- Да в общем, нет. - И Тихомирнов со смехом начал рассказывать, как, испуганные его оперативностью, от него теперь ни на шаг не отходят скопившиеся в Туле корреспонденты газет, ТАСС и радио.

Лопатин смеялся, слушая Тихомирнова, и, только доскребя кашу и закурив, вернулся к тому, с чего начал, - как с Калугой?

Тихомирнов спустил ноги с кровати, вынул из планшетки карту и стал объяснять обстановку: две дивизии прорвались к Калуге еще позавчера и дерутся за город, но между Калугой и Тулой пока что слоеный пирог, дороги перерезаны отходящими немцами, и связь со своими только по воздуху.

- Сейчас к вечернему докладу должен вернуться из-под Калуги офицер связи. Тут летает один, капитан из оперативного: другие и бьются, и горят, и путаются, а он каждый день, как несгораемый, улетает и возвращается с донесением. Ты ляг, поспи, а я схожу в оперативный, узнаю. Завтра днем, если обстановка позволит, и мы с тобой будем в Калуге. На "эмке", подозреваю, не пробьемся, а один У-2 на двоих как-нибудь выцыганим!

26

С утра, вопреки метеосводкам, была метель. Со связного аэродрома в снежную пелену поднялось сразу шесть У-2 - четыре с летевшими на передний край офицерами связи и два с корреспондентами.

Сначала, в первые полчаса полета, за пеленой снега в воздухе были видны очертания двух других У-2, но потом и они исчезли.

Самолет летел больше часа, и, по расчету времени, ему пора было оказаться где-то около самой Калуги, но внизу ничего похожего не было видно. Машину болтало то над лесом, то над снежными полями, то над пепелищами деревень - повсюду было пусто и не видно ни жителей, ни войск. Постепенно у Лопатина возникло противное ощущение, что летчик и сам уже не знает, где летит.

Наконец, помотавшись над большим лесом, самолет сел на выходившую к опушке просеку. С опушки смутно виднелась колокольня.

Летчик, как и предполагал Лопатин, не имел представления, где они сели. Сел потому, что блуждать дальше не позволяло

горючее - бензину оставалось мало.

- Ладно, - сказал Тихомирнов, когда они сели. - Я схожу на разведку в деревню, узнаю. Если будете знать название деревни, - со злым спокойствием обратился он к летчику, - это для вас достаточный ориентир, чтоб хоть в Тулу вернуться?

- Достаточный, - сказал смущенный летчик.

- Смотрите, а то еще раз сядете - сами ориентироваться пойдете.

- Я с тобой пойду, - предложил Лопатин.

- А какой смысл? Узнать название - я и один узнаю, а если увижу немцев, один тоже скорей убегу - каз-никак помоложе тебя лет на пятнадцать.

Тихомирнов подтянул пояс на полушубке и взял автомат.

- Если за час не обернусь - летите не дожидаясь, значит, немцы застукали. А будете ждать - и до вас доберутся. - Он улыбнулся с трудом, как показалось Лопатину, и, повесив на шею автомат, пошел, увязая в глубоком снегу.

Вернулся Тихомирнов через час с четвертью. Видневшееся вдали село с колокольней называлось Подгорное, летчик сразу же нашел его на карте. До Тулы было всего семьдесят километров, бензину хватало. Жители рассказывали, что утром через деревню прошел отряд немцев, человек сто половина обмороженных.

- Сравнительно повезло, - сказал Тихомирнов. - Могли сесть и хуже. Ничего не поделаешь, вернемся в Тулу, - И добавил, не - А ты н-не жалуйся, - сказал Гурский. - Во-первых, у тебя, п-по моим сведениям, в Туле уже есть красивая баба...

- Предположение, не подтвержденное фактами.

- А что ты отп-пираешься, ты же холостой! И вообще, ты везде как сыр в масле катаешься!

- Вот не дам тебе водки, тогда будешь знать, как со мной разговаривать, - сказал Тихомирнов.

- На т-такую крупную подлость ты не способен.

- Значит, через два часа будет машина? - прервал их Лопатин.

- К трем ночи доберешься, - сказал Тихомирнов. - А то, может, до утра останешься?

- Раз ехать, поеду сегодня, - сказал Лопатин, снова подумав о жене.

Через час, когда старушка - хозяйка дома поджарила им толстую деревенскую яичницу, а Тихомирнов, вопреки своим угрозам, поставил на стол бутылку сырца, в комнату ввалились еще двое корреспондентов, те самые, что сели на вынужденную и доСирались попутными средствами. Один из них был до невозможности неразговорчивый и этим не похожий на всех остальных фотокорреспондентов, фотограф Хлебников из

"Правды", а другой - специалист по передовицам - красивый крупный бровастый мужчина по фамилии Туликов. В Москве он сидел всю оборону безотлучно, на фронт из редакции своей московской газеты сырвался всего во второй раз и, в противоположность видавшему r-иды Хлебникову, задыхался от желания поскорей выложить события сегодняшнего дня. Он был одновременно и заносчив и простодушен, и, когда, покончив с собственными фронтовыми испытаниями, вслед за этим завел разговор о шестнадцатом октября в Москве, Гурский насмешливо прицелился в него через свои толстые очки белобилетчика.

Туликов, который после вынужденной посадки уже выпил где-то по дороге, а придя к Тихомирнову, сразу картинно хватил чайную чашку разбавленного сырца, витийствовал за столом, громя тех, кто, услышав по радио, что положение ухудшилось, тут же, шестнадцатого октября, бежал из Москвы. К его природной горячности примешивалось двойное возбуждение - от пережитого и выпитого. Всех, кто уехал из Москвы, он называл "куйбышевцами" и "ташкентцами" и говорил о шестнадцатом октября так, словно в этот день между всеми уехавшими и всеми оставшимися пролегла черта всемирно-исторического значения.

- Мы им этого не забудем, - говорил он, теребя свои ненатурально большие, густые светлые брови. - Хотя, когда они благополучно вернутся, они наверняка захотят поставить все на прежние места! Сейчас они отсиживаются, но потом они захотят прийти на место тех из нас, кто погиб, и на их костях делать карьеру.

- А что же, п-по вашему, - вдруг подал реплику Гурский, - на месте тех, кто п-погиб, должны быть поставлены стеклянные колпаки и мемориальные плиты? Скажем, вот вы п-погибаете, а вместо в-вашего редакционного стола у вас в кабинете ставят м-мемориальную плиту? Мне интересно, как именно вы себе это п-пре дставляете ?

- Я представляю себе, - сгоряча не обратив внимания на иронию Гурского, сказал Туликов, - что на тех, кто бежал из Москвы в эти дни, должно быть выжжено на всю жизнь клеймо.

- А г-где именно? - спросил Гурский.

- Да подожди ты, не мешай, - сказал Тихомирнов. - Видишь, человек в запале...

- Я не мешаю ему, просто мне интересно выяснить п-практически, где он намеревается ставить свое к-клеймо: если на лбу, то это обезобразит некоторых моих знакомых, в т-том числе и женщин, если же он будет делать это несколько п-пониже п-поясницы, то это значительно п-практичней, и в ряде случаев я готов его п-поддержать!

- Бросьте вы шутки шутить! - наконец-то поняв иронию, крикнул Туликов. - Вы паясничаете, а я серьезно говорю!

- Ну, если серьезно - жаль. Я до сих п-пор имел наивность считать, что вы говорите не серьезно. А если серьезно... П-подождите! - Взяв карандаш, Гурский постучал по столу. - Вы же сами просили: серьезно! Теперь п-послушайте! Кто вы такой, Туликов, если говорить серьезно? Может быть, вы Талалихин или Гастелло?

Может быть, вы истребитель танков или рядовой пе... пе... пе... - он хотел сказать - пехоты, заикнулся сильней обычного и, махнув рукой, сказал: - В общем, солдат? Кто вы т-такой и что, собственно, произошло от того, что вы остались в Москве, а не уехали?

Десять тысяч д-дворников осталось в Москве: девять с половиной тысяч л-потому, что им не было приказано уезжать, несколько сот, чтобы воровать в пустых квартирах, а несколько десятков - в-вполне допускаю - потому, что они ничего не имели против п-прихода немцев. Так чем вы лучше этих дворников?

- Ну, знаете, за это морду бьют, - сказал Туликов.

- Прошу извинения, вы меня не п-поняли, - спокойно сказал Гурский. - Я говорю о том громадном большинстве вп-полне п-порядочныгх дворников, которые, как вы, не уехали потому, что им этого не приказали. Так чем вы лучше их? Почему они не сидят и не п-произносят речей за водкой, которой, кстати, у них нет, потому что она в Москве стоит восемьсот рублей литр, а вы сидите и п-произносите речи? Что случилось? Вам п-приказали, и вы остались писать свои п-передовые. А другим п-приказали, и они уехали. А третьим не п-приказывали, но они все-таки уехали...

Как ни прискорбно, но на фронте тоже д-далеко не всегда и не все отходили только по п-приказу. Попробуйте-ка п-представить, как сейчас себя чувствуют те, кто остался, например, в Смоленске.

- Я никогда не верил, что Москву возьмут, - горячо сказал Туликов.

- А они, м-может быть, тоже до п-последней минуты не верили, что Смоленск возьмут... - сказал Гурский и вздохнул.

И Лопатин, услышав горький вздох этого ядовитого человека, вспомнил свои собственные споры с редактором из-за статьи про Одоев...

- Чего же вы хотите в конце концов? - озадаченно спросил Туликов.

- Я хочу очень п-простой вещи: чтобы вы думали немножко б-больше, чем этот стул или стол. - При этих словах Гурский спова

постучал карандашом по столу.

- Ладно, мне наплевать на все эти ваши шуточки, черт с вами. Ответьте мне прямо на вопрос - почему, например, вы не уехали?

- Н-не знаю, - пожал плечами Гурский. - Во-первых, мне редактор сказал как-то очень неопределенно: "Может быть, вы тоже п-поедете в К-казань?" а я не люблю, когда мне говорят "м-может быть". Во-вторых, тут я с вами согласен, я т-тоже не верил, что немцы возьмут Москву...

- Вот видите, а другие не верили и бежали. Об этом и речь!

- А я, между п-прочим, не знаю, п-почему я не верил, - сказал Гурский. - П-просто так, не верил, и все! Хотя шестнадцатого октября в это вполне можно было п-поверить. И я не осуждаю людей, которые п-поверили в это...

- Напрасно, - сказал Туликов. - Кто не верил в то, что мы не сдадим Москвы, тот не верил в победу.

- П-простите, но это не одно и то же.

- А вы допускаете, что мы бы отдали Москву и все-таки победили?

- Вп-полне. И могу даже п-привести вам на п-память соответствующую цитату из от-течественной лит-ературы...

- Только без исторических аналогий, - лежа на кровати, впервые вмешался в разговор Лопатин, знавший, что Гурский, историк по образованию, любит блеснуть своей эрудицией.

- Хорошо, хенде хох! - кротко улыбнулся Гурский и высоко поднял обе руки.

- Эх, до чего же вы все умные, - оглядываясь кругом, сказал Туликов. Хотя с ним не спорил никто, кроме Гурского, он понял,

что сочувствие не на его стороне. - А я вот до гробовой доски не прощу тем, кто бежал в октябре. Не прощу, и все тут!

Гурский молча пожал плечами.

- Какая чепуха, - сказал Лопатин. - Не забуду! Не прощу!

По нашей русской отходчивости и забудем, и простим даже и тому, кому прощать не надо бы!

В комнату вошел редакционный шофер с вещевым мешком в руках.

- Куда поставить, товарищ батальонный комиссар? - обратился он к Тихомирнову и сказал, что паек получен полностью, за исключением подболточной муки.

Гурский, как всегда, был прав - Тихомирнов посылал машину за пайком. Через пять минут Лопатин, покряхтывая, поднялся, простился с товарищами, оделся и вышел к машине.

- Слушай, д-дружок, - тихо и серьезно сказал ему Гурский, в накинутом на плечи полушубке вышедший проводить его к машине. - Не обижайся, что я вместо тебя п-приехал. Я, п-правда,

сюда еще раньше п-просился, но тогда он отказал. А сегодня вдруг сам вызвал: п-поезжайте заменить! По моим сведениям, у него вч-чера ночью целый час сидела т-твоя жена и закапала ему слезами все сукно на столе. П-по-моему, у тебя там, в семье, дело совсем д-дрянь, поэтому он и п-перенграл: меня сюда, а тебя - вместо меня. И даже велел п-передать, что ты можешь сегодня ночью, не являясь в редакцию, ехать п-прямо домой, к жене. А к нему - только завтра. Это было так неп-похоже на него, что я даже взд-дрогнул! Ты извини, что я каркаю, но я не хотел, чтобы ты являлся к ней домой в состоянии всеобщего и п-полного разоружения. Извини, но я в дружбе человек т-тяжелый...

- А легких, их пруд пруди! - сказал Лопатин и, несмотря на то что у него кошки заскребли на сердце, благодарно пожал руку Гурскому.

27

Всю дорогу до Москвы Лопатин пролежал на заднем сиденье машины. Боли в животе не то стали слабее, не то он к ним привык.

"Кажется, ничего особенного, а полежу день, и вовсе пройдет", успокоенпо подумал он, поднимаясь по лестнице к себе Домой.

Дверь открыла Геля, она была одета в халат Ксении и в ватник поверх него. В зубах у нее дымилась свернутая из газеты козья ножка.

- А где Ксения? Спит?

- Она улетела. - При всей неприязненности их отношений с Лопатиным в голосе Гели не было торжества.

- Ну и черт с ней! - неожиданно для себя хрипло крикпул Лопатин, швырнул в угол вещевой мешок, прошел в комнату и сел, не раздеваясь, только расстегнув на два крючка полушубок.

Геля опустилась напротив него, продолжая дымить самокруткой. Кажется, она ожидала расспросов.

- Что смотрите на меня, Ангелина Георгиевна? Считаете, что я расстроен? - с вызовом спросил Лопатин.

- Она изменяла вам раньше и изменяет сейчас, - необычно тихим голосом сказала Геля, отвернувшись от Лопатина и глядя куда-то в угол. - А вы...

- А я знаю все это не хуже вас, - инстинктивно и мгновенно солгал он, защищаясь от подробностей. Всего он не знал, хотя догадывался, но сейчас ему показалось, что он всегда и все знал.

Впрочем, теперь это уже не имело того значения, какое имело бы еще вчера. По крайней мере, так он считал в ту минуту.

- Согрейте мне чаю, и, если он будет крепкий и быстро, обещаю не обижать вас сегодня, честное слово.

Геля послушно поднялась и вышла, а он позвонил редактору.

Редактор долго не подходил, секретарша несколько раз говорила: "Еще минуточку!" - наверное, в редакции подписывалась последняя полоса. Наконец в трубке послышался недовольный голос редактора:

- Чего не спится? Семейная жизнь надоела? Могу вызвать!

- Вызывай, - сказал Лопатин. Его голос помимо воли дрогнул, и редактор услышал это.

- Хорошо. Машину отпустил?

- Отпустил.

- Сейчас пришлю. - Редактор повесил трубку.

Геля вернулась и, разлив по стаканам чай, села напротив Лопатина.

- Нате курите, - протянул он ей пачку "Беломора".

- Спасибо, я уже привыкла к махорке.

- Ответьте мне, но только честно, почему вы вдруг сейчас мне это сказали? - спросил Лопатин, радуясь, что он довольно удачно имитирует спокойствие. - Вы поссорились с ней?

- Не больше, чем много раз до этого.

- Тогда почему же?

- Не знаю, - сказала она, - наверное, мне просто надоело столько лет смотреть на все это. А потом, я сегодня поглядела в зеркало и вспомнила, что я ваша ровесница. Видите? - Она приподняла со лба свои пестрые крашеные волосы - и показала седые корни.

- А какое отношение имеет одно к другому?

- Не знаю. Очевидно, имеет. - Она помолчала. - Хорошо, если я не сказала вам ничего нового.

Лопатин услышал за окном гудок машины и встал.

- Опять уедете на фронт?

- Должно быть, а что?

- Если я съеду от вас, я занесу ключи к вам в редакцию.

- А чего ради вы съедете?

- Кажется, я устроюсь сестрой-хозяйкой в одно место. Ведь вы не собираетесь высылать мне аттестат?

- Не собираюсь.

- И никто не собирается. А мне жрать надо. И кроме того, чувствовать себя нужной не только нашей с вами дамочке!

Она впервые на памяти Лопатина так сказала о Ксении.

"Да, они сильно поссорились, - подумал Лопатин, - надолго, может, навсегда. Бывает в жизни и так".

- Оставьте мне ваш "Беломор", не скупитесь, - густо закашлявшись, сказала Геля, когда Лопатин, вставая из-за стола, потянулся за пачкой, - а то я с этой махоркой совсем превратилась в мужика. Вы спросили, почему я вам сказала?

Может быть, потому, что война, и во время войны все это как-то... - Она не договорила. - Если я съеду, я тут все приберу и запру. Не беспокойтесь.

- Я не беспокоюсь.

Лопатин надел ушанку, застегнул полушубок и вышел вместе с ней в коридор.

- Вы способны объяснить мне, - спросил он, уже взявшись за ручку двери, - ну, чего она пошла вчера к редактору клянчить, чтоб я вернулся? Чего ради была эта комедия? - Говоря это, он почувствовал прилив злости от мысли об еще предстоявшем ему объяснении с редактором.

- А вы что, только сейчас узнали, что у нее семь пятниц на неделе? зло, вопросом на вопрос ответила Геля. - То, что я дура, вы старались мне дать понять довольно часто, а то, что она дура, так за пятнадцать лет и не заметили?

Лопатин молча кивнул ей и вышел. А она, не затворяя двери, посмотрела ему вслед и, вынув из кармана халата предназначенное ему Сюнино письмо, полное лжи и душевной сумятицы, изорвала его на мелкие кусочки своими желтыми, прокуренными пальцами.

Когда Лопатин вошел в редакторский кабинет, все полосы были уже подписаны, номер ушел в машину, но редактор, по старой газетной привычке, еще не ложился спать, ожидая, когда выпускающий принесет первую пачку пахнущих краской газет.

В редакции шутили, что редактор не ложится спать, пока не понюхает газету. Шутили, впрочем, с оттенком уважения: редактор знал свое дело, а это ценят и в тяжелых начальниках.

- Прибыл? Садись, сейчас нам чаю дадут, - сказал редактор, увидев входящего Лопатина, и всем телом потянулся в кресле. - И как это только тебя жена отпустила?..

- Она улетела.

Редактор присвистнул, хотел сказать что-то резкое - он не привык лезть за словом в карман, - но вошла секретарша с чаем, и он остановил себя. Пока она стелила на стол салфетку и ставила на нее чай и галеты, он смотрел на Лопатина и вспоминал, как именно в это время и именно на этом месте, где сидит сейчас Лопатин, сидела вчера ночью его жена.

До вчерашнего дня редактор не знал жены Лопатина. Она была непричастна ни к их делам, пи к их дружбе. Он знал, что у Лопатина есть жена красивая и много моложе его. Вот и все.

Вчерашняя встреча оставила у него в памяти впечатление какогото длинного сумбура. Он еще цинично подумал тогда, что, наверно, у этой красивой и слезливой женщины есть свои приятные для мужа стороны, но разговаривать с ней утомительно.

Рыдала, говорила о том, сколько семей на ее глазах уже разрушила война, умоляла вызвать ее мужа в Москву, чтобы и у них не случилось того же самого... А теперь, когда вызвал, - нате, здрасьте - улетела!

- Ну, что будешь теперь делать? - спросил редактор, когда секретарша вышла.

- Продолжу жизнь на казарменном положении. - Лопатин не преуменьшал и не преувеличивал своей горечи: еще не понимая, какой будет его жизнь, он знал - такой, как была, уже не будет.

Чувство бесповоротности притупляло боль.

- А может, отпустить тебя - слетаешь к пей сам дня... - Редактор хотел расщедриться и сказать - на три, по характер взял свое, - дня на два?

- Спасибо, нет.

- А чего она приходила сюда, ко мне, можешь объяснить?

- Не могу, - сказал Лопатин. Ему было стыдно сразу за все - за свой вызов, за ее приход, за время, украденное у этого занятого и усталого человека на нелепый разговор с нелепой бабой. - А отпуск дня на четыре, если сочтешь возможным, все же мне дай!

- Зачем?

- Съезжу к дочери, она со школой в деревне, под Горьким.

Редактор задумался. В его строгой душе была слабая струнка.

Единственный сын через неделю кончал курсы младших лейтенантов, и редактор почти каждый вечер боролся со стыдным желанием снять трубку, позвонить своему старому товарищу в управление тыла и хотя бы на первое время устроить судьбу сына так, чтобы поменьше бояться за его жизнь. Он старался оправдаться перед самим собой тем, что он-то лично никогда не отступал перед опасностями, наоборот, искал их. Так неужели у него нет права подумать о сыне? Но в последнюю секунду каждый раз рука так и не дотягивалась до трубки.

Просьба Лопатина застала редактора душевно обезоруженным.

- Хорошо, поезжай, - сказал редактор. - Можешь даже послезавтра, если завтра к вечеру новогоднюю передовую сдашь.

И еще тут от Гурского кое-что осталось - пройдись, поправь до отъезда. - Он протянул целую пачку гранок и, еще раз мысленно проверив себя, не дает ли поблажки Лопатину, повторил: - Поезжай! Только постарайся привезти оттуда, из Горького, какойнибудь тыловой материал для газеты.

Лопатин укоризненно посмотрел на него: ну зачем такая скаредность? Ведь из четырех суток почти двое уйдут на поезд туда и обратно.

- Привези, учитывая наши с тобой отношения: чтобы комар

носу...

Лопатин кивнул:

- Ладно, чтобы комар носу...

Он перестал следить за собой, и лицо его сделалось печальным.

- У меня есть немножко водки. Может, хочешь выпить? - спросил редактор.

- Спасибо. С горя не пью, - сказал Лопатин. - Пойду спать. - И вышел, разминувшись в дверях с выпускающим, несшим пачку свежих газет.

Зайдя в свою редакционную комнату, он скинул валенки и лег на койку, заложив руки за голову.

На койке Гурского, с которым они и здесь, в "Правде", жили на казарменном вместе, валялся вверх корешком раскрытый том "Наполеона" Тарле, а из-под подушки торчал рукав наспех засунутой сорочки и кончик галстука.

"Сейчас, наверное, уже поднимаются там с Тихомирновым, чтобы лететь под Калугу", - вспомнил Лопатин, посмотрев на подходившие к шести стрелки стенных часов.

Решение повидать дочь родилось неожиданно, но теперь казалось необходимым. Он попробовал представить себе свидание с ней. Конечно, она будет рада и немножко горда - отцы не часто приезжают туда к ним с фронта.

А дальше? Говорить ли ей о случившемся? И вообще, что говорить ей о матери? И как? Девочка и так несчастлива.

"Теперь я все это поправлю", - безотчетно подумал он и, злясь на собственное легкомыслие, строго спросил себя, как и когда?

Его мысли прервал телефонный звонок.

- Василий Николаевич, редактор приказал вам зайти к нему, - сонным голосом сказала секретарша.

Редактор, с которого соскочила вся усталость, стоял с телефонной трубкой в руке и, поставив на кресло ногу в хорошо начищенном тонком хромовом сапоге, весело ругался по телефону:

- Ну и что же, что фельдсвязь! А ты вдобавок к фельдъегерям и моего человека посади. Нет, вот именно что завтра, то есть, верней, уже сегодня! Чтобы он днем был, по крайней мере, в Новороссийске. Уговорил? Ну спасибо, спокойной ночи.

Он быстро брякнул на рычаг телефонную трубку.

- Наши войска сегодня начали высадку в Керчи и Феодосии, ты подумай только? Кого же теперь туда послать, а? - Он повернул свое быстрое лицо к Лопатину. - Самолет пойдет через два часа. В восемь, с аэродрома фельдсвязи. Как, не соблазняет? Крым!

А? Был там в плохое время, теперь попадешь в хорошее! А к дочери съездишь, как только вернешься, даю слово. Чего молчишь?

- Испытываю твое терпение, - усмехнулся Лопатин. - Прикажи поднять кого-нибудь, у кого сорок первый номер сапог, и заставь отдать мне. У меня здесь только валенки, а в Крыму, чего доброго, дождь...